

ПЬЕР-АМБРОЗИО КУРТИ

ПОД РАЗВАЛИНАМИ ПОМПЕИ. Т. 1

История в романах

Пьер-Амброзио Курти

Под развалинами Помпеи. Т. 1

«Public Domain»

1874

УДК 821.131.1
ББК 84(4Ит)

Курти П.

Под развалинами Помпеи. Т. 1 / П. Курти — «Public Domain»,
1874 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03623-1

Пьер Амброзио Курти (годы жизни не установлены) – итальянский писатель, мастер исторического повествования, засвидетельствовавший своими произведениями глубокое знание древней римской жизни. В романе «Под развалинами Помпеи», начало которого представлено в первом томе данного издания, живой кистью художника нарисована картина римского общества в самый интересный и поучительный с исторической точки зрения период римской истории – в эпоху «божественного» императора Августа. На страницах романа предстанут перед читателем Цицерон, Гораций, Тибулл и Проперций, Федр, Овидий и другие классики Древнего Рима, а также императоры Август, Тиберий, Калигула, Клавдий и Нерон.

УДК 821.131.1

ББК 84(4Ит)

ISBN 978-5-486-03623-1

© Курти П., 1874
© Public Domain, 1874

Содержание

Вместо предисловия	6
Глава первая	12
Глава вторая	18
Глава третья	23
Глава четвертая	32
Глава пятая	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Пьер Амброзио Курти

Под развалинами Помпеи. Т. 1

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИД Литература», 2010

Вместо предисловия

Двадцатого декабря 1869 года, в десятом часу утра, ясного и теплого, я сидел в железнодорожный вагон, оставляя Неаполь, очаровательную сирену, гостеприимством которой я пользовался целых две недели.

Локомотив издал самый сильный и продолжительный свист, и я, держа в руке белый платок, махал им на прощанье брату своему Иохиму, бывшему мне добрым спутником во все время моего пребывания в Неаполе и глядевшему теперь, со станционной платформы, на поезд, который, дымясь, медленно выходил из-под высокого свода станции.

Уткнувшись в угол вагона и опечаленный разлукой с братом, новыми знакомыми и с очаровательными местами, я предавался воспоминанию о тех чудесах природы и искусства, которыми любовался в эти дни. Вид залива с балкона монастыря Святого Мартина и особенно с замка Эльмо, плеск искрящихся волн у Тиррено, Плачиды, Капри, Искии, Низиды и у прочих миниатюрных островков, поднимающихся из этих волн подобно прелестным наядам, одетым легкой и пурпурной дымкой, Поццуоли и Байя, Каstellамаре и Сорренто, Солфатара и Везувий; затем, как в стеклах калейдоскопа, мелькали в моем уме тот или другой красивый храм, национальный музей, один из самых богатых в мире по собранию произведений греческого и римского искусства, и целый ряд других великолепных предметов.

Но над всем этим господствовали в моих воспоминаниях, ясно представлялись моим глазам Геркуланум и Помпея, особенно этот последний город, по прошествии восемнадцати столетий вышедший из своей могилы и открывший миру столько сторон древней жизни. Его пустынные улицы со следами колес на мостовых, разрушенные и погоревшие дома, его храмы и базилика, его термы, амфитеатр, театр трагический и мимико-комический с сохранившимися объявлениями о спектаклях и гладиаторских играх, извещения об административных и политических выборах, о сдаче квартир и разных промышленных заведений; булочные с приготовленными хлебами, трупы жертв Везувия со смертной агонией на лицах, – все это так сильно поразило меня, произвело на мою душу такое глубокое впечатление, как будто я смотрел на следствия катастрофы, происшедшей лишь накануне. И как поразительно описана она в письмах Плиния Младшего к Каю Корнелию Тациту! При воспоминании об этом извержении мне захотелось вновь прочесть письма Плиния; книга была со мной, и я углубился в чтение.

Только на Казертской станции, где остановился поезд, я закрыл книгу и бросил первый взгляд на своих спутников, которые все это время, быть может, под влиянием тех же чувств, подобно мне сохраняли глубокое молчание. Их было только двое. Напротив меня сидела серьезная фигура английского джентльмена с густыми бакенбардами, аристократической миной и одетого более комфортабельно, нежели элегантно; рядом с англичанином сидел француз с симпатичным лицом и манерами и в костюме изящного покроя. Оба мне незнакомые и, очевидно, незнакомые между собой, они, таким образом – чему я внутренне радовался, – не могли служить помехой моим, столь приятным мне размышлениям.

Проехав Капую, я почувствовал голод и поблагодарил в душе предусмотрительность брата, снабдившего меня холодными закусками, свежими палермскими мандаринами и бутылкой хорошего позиллипского вина. Без малейшего стеснения, как это и следует делать в дороге, особенно долгой, я вынул свою провизию и готовился оказать ей честь, когда глаза мои встретились с глазами английского баронета, в которых, как мне казалось, я мог прочесть следующие слова: «С большим удовольствием принял бы и я участие в твоём завтраке».

Я позволил себе пригласить его к такому участию.

На довольно понятном итальянском языке, откровенно и добросердечно, хотя с некоторой серьезностью и важностью, столь свойственными каждому англичанину, он отвечал мне,

что я поступил предусмотрительно, снабдив себя такой благодатью, чего он не сделал, рассчитывая на продолжительную остановку у римской границы.

Добрый человек не знал, что голод не ведет знакомства с нашими расчетами, и запах моей Йоркской ветчины и вид поджаренной курицы настолько возбуждали в нем аппетит, что вслед за своим недостаточно определенным ответом он бросил второй взгляд на мои закуски, еще красноречивее первого. Я счел своим долгом вновь сделать ему предложение и приблизил к нему мои закуски. С дружеским «I thank you» (благодарю вас) он на этот раз протянул свою руку и взял большой кусок ветчины, затем другой, после чего мы принялись с ним и за курицу, великолепно зарумяненную на вертеле братниной кухни.

Я пригласил к нашему завтраку и француза, но он принял любезно лишь один мандарин: он успел уже позавтракать в Неаполе, и на римской границе его ожидал ланч, приготовленный для него его знакомыми.

Таким образом, я познакомился со своими спутниками. Окончив или, вернее сказать, пожрав всю провизию, запивая ее по временам позиллипским вином, мы, в заключение, выпили по рюмке превосходного шартреза, которым угостил нас француз.

Излишне передавать тут весь последовавший затем между нами разговор. Разумеется, он касался преимущественно виденных нами чудес; кроме того, впечатления и воспоминания, нами уносимые из Неаполя, были одинаковы; но более всего нас занимала Помпея: мы говорили о ее настоящем и еще охотнее описывали друг другу ее прошлое.

Не знаю, каким образом, при взаимных археологических излияниях, мне случилось тут высказать, что, будучи свидетелем раскопок в Помпее, я намереваюсь приняться за описание этого древнего и интересного города, который, как я сознался при этом, был для меня лично настоящим откровением. Кроме этого, помнится мне, я высказал моим спутникам, что раскопки в Помпее, бывшей римской военной колонией, познакомили меня с общественной и частной жизнью римлян гораздо более, чем все тома латинских классиков, над которыми я потел в коллегии и семинарии, анатомируя каждый их стих, и что поэтому я того мнения, что учащаяся молодежь, посещая эти развалины, находила бы в них лучшие и самые красноречивые комментарии к сочинениям Цицерона, Тацита, Тита Ливия, Катуллы и Горация, Тибуллы и Проперция, Овидия и Марциала¹.

— Tiens! — воскликнул на это мой французский спутник — Ваша идея была отчасти высказана много лет тому назад нашим Шатобрианом в его «Voyage en Italie». Ему хотелось видеть реставрированными разрушающиеся стены зданий, покрыть эти последние крышами, исправить живопись и чтобы оставались на своих местах все находимые при раскопках предметы. Но эта книга тут со мной.

Достав ее, он прочел нам из нее несколько мест, касающихся Помпеи, и между прочим, то, где знаменитый автор «Мучеников» и «Гения христианства» говорит: «Не самым ли удивительным музеем в мире был бы древний римский город, сохраняемый в целости, будто только четверть часа тому назад оставленный своими жителями? За несколько прогулок по реставрированной Помпее можно было бы изучить домашнюю жизнь римского народа и его цивилизацию гораздо лучше, чем из чтения всех древних сочинений».

— Что же вы хотите писать о Помпее? — продолжал француз, обращаясь ко мне и закрывая своего Шатобриана. — Будет ли это археология, путевые впечатления или роман? По-моему, последний был бы интереснее. Я понимаю наслаждение писать для самого себя, но мне кажется менее эгоистичным писать так, чтобы давать в то же время наслаждение и другим. Думать при этом немного и о своих ближних и даже о прекрасном поле мне кажется более справедливым и более гуманным, — не правда ли?

¹ Марциал Марк Валерий (ок. 40 – ок. 104) – римский поэт-эпиграмматист, в творчестве которого эпиграмма стала тем, что мы сейчас понимаем под этим литературным термином.

– Я еще не знаю ничего, – отвечал я, – оставлю время, чтобы дозреть идее.

– Tenez, – продолжал мой собеседник доказывать свое мнение, – роман Бульвера под заглавием: «Последние дни Помпеи» познакомил с этим городом читателей гораздо более, чем наш Мазуа и ваш Фиорелли своими учеными монографиями. Кто станет читать их инфолио, полные каракулек и греческих и латинских фраз?

– С этой стороны вы сто раз правы.

– Итак, принимаете ли вы мою мысль? Я дал вам сюжет для романа, который вы можете писать на мотив «*Argia Marcella*» нашего Теофила Готье; знакомы вы с этим произведением?

– Знаком: это одна из прелестных новелл вашего почтенного соотечественника. В чем же заключается ваш сюжет?

– Помните вы *Via delle Tombe*² в Помпее?

– Помню хорошо, я даже сделал несколько заметок о ней.

– Заметили ли вы на правой стороне, между памятниками фамилий Истацидия и Либеллы, памятник Неволей Тикэ и Мунация Фауста?

– Да, разумеется, и помню еще на его фронте изображение самой Неволы, сделанное, как мне показалось, мастерским резцом.

– Не думаете ли вы, что женщина, очевидно богатая, устроившая такой грандиозный и дорогой монумент от себя и для человека, принадлежавшего к высшей городской аристократии, но не бывшего ее мужем, по крайней мере законным, так как этого не указывает надпись, говорящая о Неволее как об отпущеннице Юлии, не помню, дочери или племянницы императора Августа, – не думаете ли вы, что такая женщина, ее жизнь, не может служить сюжетом романисту, тем более что о ней не упоминают историки? Благодаря последнему ваша фантазия будет вполне свободна.

– Стойте, стойте! – воскликнул тут английский баронет, сидевший против меня и не проронивший ни одного слова во время нашего разговора. – Мне кажется, что в этом случае я могу помочь вам. Мой отец был любителем античных вещей и много раз посещал Помпею. Он говорил мне, что во время Бурбонов тут не обращали внимания на всякую мелочь и не было такого строгого надзора; можно было свободно бродить по Помпее и даже покупать различные вещи в минуту их открытия, не очень опасаясь смотрителей. Он показывал мне шкатулку из красного дерева, заказанную им самим; в ней он хранил какие-то темные папирусы, покрытые греческими письменами и приобретенные им за дорогую цену у одного неаполитанского антиквара. Я не знаю, были ли найдены в Помпее другие папирусы, так как все те, которые нам известны из иллюстраций, отысканы в Геркулануме. Что же касается упомянутых мной, то так как ни я, ни мой отец не могли разобрать их, и боясь, вместе с тем, чтобы они, почти уже обуглившись, не были окончательно испорчены временем, мы однажды отправились с драгоценной шкатулкой к господину Гайтеру, известному ученому, жившему, как и мы, в Лондоне и напечатавшему в то время одно из своих серьезных исследований о манускриптах, найденных в Геркулануме. Гайтер необыкновенно обрадовался, увидев наши папирусы, и несколько раз воскликнул, поглядывая на них: «О! Это драгоценность! Это драгоценность!»

– О чем повествовали они? – спросил я нетерпеливо.

– Об этой Неволее Тикэ, – ведь это имя я слышал в вашем разговоре?

– Так ли это? – спросили мы с французом в один голос, будучи немало удивлены таким открытием.

– Совершенно так. Гайтер, возвращая нам, спустя некоторое время, папирусы, передал нам также и перевод их содержания на английском языке. Копию с этого перевода я пришлю вам из Лондона.

² Название одной из помпейских улиц; в переводе: «Улица могил».

– I thank you, – воскликнул я, выражая англичанину свою благодарность на его родном языке и крепко пожимая обе его руки.

Обрадованный таким обещанием и передавая моему любезному спутнику свою визитную карточку, на которой было указано место моего постоянного жительства, я обещал ему добросовестно воспользоваться содержанием папирусов.

Таким образом время в дороге прошло для меня быстро, даже очень быстро. В Риме мы расстались: англичанин и француз сели в омнибус гостиницы «Минерва», а я продолжал свой путь во Флоренцию, куда спешил в качестве депутата на заседания парламента.

К несчастью, вторая половина пути не была для меня так приятна, как первая. Трое редакторов французских газет, вместе с одной дамой, не обращая внимания на присутствие постороннего лица в вагоне, с шумом ворвались в него, ругаясь и проклиная алчность содержателей римских гостиниц, один из которых, по их выражению, содрал с них кожу, в отместку за что они не оставили ему ни одного свечного огарка; размещаясь в купе, они наступали мне на ноги, толкали меня, отделяваясь мимолетным pardon! и, грузно бросаясь на сиденье, заставляли меня подпрыгивать на подушке. Они возвращались из Измаилии, куда на торжественные празднества, устроенные хедивом, были приглашены и многие журнальные редакции; вероятно, вследствие этого мои новые спутники считали себя такими персонами, которым все позволительно. Как только поезд в сумерках выехал из Рима, господа редакторы, осветив вагон огарками забранных ими из гостиницы свечей и вынув карты, принялись играть на столе из подушки, назначив выигрышем какое-то consommation. Усталый от долгой езды, я рассчитывал было отдохнуть ночью, а теперь, не имея охоты заводить ссору, мне приходилось бодрствовать и терпеть.

Но о них я уж слишком много говорю, а поэтому, обращаясь к главному предмету моего рассказа, познакомлю лучше читателей с тем, как явилась эта книга на свет Божий.

Два месяца спустя после моей счастливой встречи с баронетом я получил по почте в Милане толстый пакет под английскими марками. Этот пакет был от милорда, исполнившего свое обещание.

Манускрипт был прочтен мной в один присест. Он далеко превзошел мои ожидания и возбудил во мне крайний интерес.

Заглавие его было следующее: «Воспоминания Неволей Тикэ, отпущенницы Юлии». Содержание же его заключалось в истории ее любви, единственной любви в ее бурной жизни, которая часто наполнялась страданиями под влиянием серьезных событий ее времени; из того же манускрипта было видно, что история любви Неволей была лишь эпизодом гораздо большей эпопеи, печальной героиней которой являлась старая императрица, эгерия политики: *Ливия Друзилла Августа*.

Не затемненными и не робко высказанными являлись на этих страницах те ужасные интриги, к которым прибегала эта женщина, чтобы уничтожить препятствия, преграждавшие дорогу к трону такому отродью, каким был сын ее, Тиверий Нерон. Эти страницы заключали в себе немало интересного и по отношению к истории литературы: они открывали, кто такая была Коринна Овидия, и указывали на причины, до сих пор не совсем разъясненные, ссылки певца любви и геройских подвигов в Томи.

Словом, папирусы бывшей невольницы были, действительно, драгоценным открытием.

Дочитав их до конца, я припомнил грубую ошибку Вольтера, объяснявшего причину осуждения певца Коринны и гнев Августа и Тиверия тем, что будто бы поэт, питавший любовь к жене Августа, имел несчастье видеть ее в купальне голой; а ревнивый муж, узнав об этом, наказал нескромного наблюдателя отдаленной ссылкой. Если Вольтер в данном случае не подсмеивался над доверчивыми читателями, а говорил серьезно, то он не помнил и того, что красавица Ливия в минуту ссылки Овидия была уже матерью пятидесятилетнего сына, вышеупомянутого мной Тиверия Нерона, сделавшегося по смерти Августа императором. Не лучше

мнение и другого француза, которому снилось, будто вина Овидия заключалась в его страсти к Юлии, дочери Августа и жене Марка Випсания Агриппы. В повествуемой мной истории читатель увидит, что я не отрицаю мнения тех, которые в Коринне поэта узнавали Юлию; но если знание об этой любви и могло с давнего времени охладить в Августе расположение к поэту, посвятившему, однако, императору стихотворение, полное сочувствия к его горю по случаю смерти Друза, все-таки не это было истинной ссылкой поэта, потому что его любовная связь с Юлией давно уж была прервана; и в то время, когда с Овидием случилось несчастье, Юлия не находилась более в Риме, а жила в Реджио, в Калабрии.

Несмотря на драгоценное содержание папирусов бывшей невольницы, я отложил их тогда на время в сторону, будучи занят другим трудом, по характеру своему более серьезным и ныне уже оконченным, «Помпея и ее развалины»; только теперь я исполняю долг по отношению к своим двум старым товарищам по путешествию, принимаясь за папирусы Неволей, и если случится, что читатель этой книги найдет в ней, вместе с занимательностью рассказа, и некоторый исторический интерес и разъяснение старого литературного спора, то я буду считать свой труд не совсем бесполезным.

Предупреждаю, однако, благосклонного читателя, что при составлении этой книги я руководствовался не одними только записками Неволей Тикэ, будучи того мнения, что если находятся мужчины, которые при описании современных им событий руководствуются не столько истиной, сколько своими личными интересами и страстями, – достаточно указать, например, на Саллюстия, писавшего *De bello Catilinario* под влиянием своей вражды к Цицерону, и на Веллея Патеркола, представившего в своей истории благосклонного к нему Тиверия образцом государя и героя, – то тем более нужно быть осторожным по отношению к запискам женщины, особенно в том случае, как было с Неволеей, когда она затрагивает раны, еще не зажившие; поэтому я не оставлял без внимания и других источников, чтобы дать более точное изображение той эпохи и действующих в ней лиц, и если вследствие этого некоторые страницы моего рассказа, где приходится мне делать исторические выписки, покажутся читателю скучными, я прошу вперед у них снисхождения ввиду моего желания быть верным истине и принести какую-нибудь пользу своей книгой.

Преданность моя к исторической правде и верность картины обычаев и нравов той эпохи – картины, возбуждающей, помимо моей воли, реальные вкусы наших дней, навлекут на меня гнев лицемеров в сфере политики и нравственности; тем не менее я не останавливаюсь и иду смело навстречу ожидающей меня опасности, не желая собственноручно предавать огню папирусы Неволей и свою книгу.

Вина не моя, а самого сюжета, соединенного с самыми знаменитыми и великими именами того времени, которое я описываю.

Щитом против обвинений, каким я могу подвергнуться, послужит мне авторитет знаменитого историка, находящегося еще в живых, который, рассуждая об эпохе римских императоров, высказывает следующее своим читателям:

«Предупреждаю лишь, – пишет почтенный Агто Вануччи, – что все современные той эпохе сочинения или написанные немного позднее утверждают заодно, что главными развратителями тогдашнего общества были высокопоставленные люди: Силла, Катилина, Юлий Цезарь, Антоний и Август, не говоря уж о сотне других, служили примером ненасытной алчности, разнузданного разврата и усилили своим поведением пороки своего века. И благодаря таким лицам увеличилось зло при империи, во время которой разврат в высшем обществе принял такие размеры и формы, что нет возможности выразить его сколько-нибудь приличными словами: дамы высшего римского общества вносят свои имена в списки проституток, ужасные преступления, безумие, зверская жестокость и крайний разврат доходят до трона и дворец цезарей превращается в публичный дом».

Даже самые темные страницы моей настоящей книги являются целомудренными сравнительно с тем отвратительным бесстыдством, которое клеймят Тацит и Ювенал в своих бессмертных сочинениях.

Наконец, читатель найдет в моей книге и мораль, говорящую нам, что безумное, бесстыдное и жестокое общество предшествовало и содействовало упадку Рима и разложению его славной империи, точно так, как оргии и нравственное развращение времени Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI привели Францию к революции 89 года и к ужасной народной расправе 93 года.

Недаром история названа наставницей жизни.

Глава первая

Купеческое судно

– Навклер, прикажи править левее.

– Зачем, девушка?

– Разве не видишь? Мы у Эвбеи, близ кафаркского мыса, много кораблей погибло на этом месте по неопытности кормчих.

Хозяин судна, исполнивший также и обязанности капитана и которого девушка назвала на своем языке навклером³, тотчас же предупредил человека, стоявшего в передней части судна, об опасности, а тот, в свою очередь, громким голосом передал приказание рулевому, немедленно исполнившему необходимый маневр.

После этого навклер, перегнувшись через правый борт и посмотрев с минуту на воду, поднялся вновь и, повернувшись к предупредившей его девушке, воскликнул:

– Клянусь Геркулесом! Я обязан тебе спасением судна, а может быть, и жизни: вот зеленая полоса воды, указывающая на присутствие там длинного рифа.

Говоря это, навклер вперил свой взор в лицо молодой невольницы, которая сидела в эту минуту в стороне от прочих лиц на одном из товарных ящиков, расставленных на палубе, и до тех пор она ни разу не обращалась к нему с речью.

Внимание навклера было возбуждено естественным любопытством узнать, кто такая эта молодая девушка, так неожиданно сделавшаяся его спасительницей. Смотря на нее, он был сильно и вместе с тем приятно поражен ее необычайной красотой и благородством всей ее фигуры; ему стало перед ней неловко, и он не был в состоянии выдержать ее взгляда. Показывая вид, будто ему нужно отдать приказание своим подчиненным, то есть экипажу своего судна, а на самом деле чтобы скрыть свое смущение, он, повернувшись и удаляясь в противоположную сторону, шептал самому себе: «Золотые волосы, небесно-голубые глаза, глядящие так нежно и спокойно; необыкновенной, божественной красоты лицо; это настоящая Венера Анадиомена⁴. Эта богиня, несомненно, вышла из пены этого или соседнего моря».

Между тем молодая невольница – таково, действительно, было ее общественное положение – обратила вновь свои взоры на Аттику, скрывавшуюся за морским туманом, позолоченным солнечными лучами и застилавшим собой дальний горизонт; девушка смотрела неподвижно вдаль, как бы вызывая оттуда дорогие ей воспоминания. В эту минуту она могла еще ясно отличить высокий Сунийский мыс, находившийся между Пиреем и Эвбеей, и откуда, как утверждали афиняне, можно было видеть корабли и за сто миль.

Направившись к корме, навклер остановился перед человеком с нечесаной бородой, злыми глазами и одетым в темное одеяние, какое носили в то время рабы.

– Лорарий, – спросил у него навклер, – кто такая та невольница, которая сидит там, на товарном ящике?

Лорарием называлось у римлян доверенное лицо среди невольников, которому хозяева поручали надзор за остальными невольниками, особенно во время их перевоза, при этом с правом наказания непослушных; из наказаний этих самым жестоким было сечение скрученными веревками и ременными плетями. Лорарий, находившийся на нашем судне, отличался своею жестокостью и был грозой для своих товарищей по рабству.

– Ее имя Неволея Тикэ, а родом она из Милета, – вот все, что мне о ней известно.

³ Навклер (*греч.* navclyros) – собственник и вместе с тем капитан купеческого судна.

⁴ Анадиомена – «вышедшая из воды»; это название было дано Венере вследствие знаменитой картины Апеллеса, на которой богиня была изображена выходящей из моря и выжимавшей свои волосы.

Эти немногие слова он проговорил резко, подернув плечами, как бы желая этим выразить, что он не интересуется знать о ней более этого.

Прошло несколько мгновений, навклер, стоявший со сложенными руками на груди, находился, по-видимому, в возбужденном состоянии; казалось, что внутри него происходила борьба между разнородными чувствами; потом, быстро повернувшись и пройдясь несколько раз взад и вперед по палубе, он приблизился к девушке-невольнице, которая по-прежнему неподвижно глядела на горизонт по направлению к Аттике; на ее ресницах, как показалось навклеру, блеснули слезы. С намерением отвратить ее от печальных воспоминаний и ободрить он завел с ней разговор.

– Девушка... – начал было он несколько взволнованным голосом.

Неволея вздрогнула, и, как бы желая скрыть печаль, причиненную ей воспоминаниями о прошлом, она, не ожидая его дальнейшей речи, сама обратилась к нему с вопросом:

– Навклер, тебе незнакомы эти моря?

– Как ты отгадала это? – спросил он ее в свою очередь.

– Смотри. Вон там земля Аттики. Видишь ты то облачко, черное-черное, которое сопровождается солнечным лучам, позолотившим его?

– Ну так что же?

– А то, что не пройдет и часа, как оно покроет собой все небо. Последуй совету: не входи на ночь в Циклады. Нас застигнет сильная буря. Укрой свое судно у острова Циос, который находится от нас влево. Поздно, в темноте, ты не увидишь северного созвездия и собьешься с пути; гибель твоего судна будет неизбежна.

– Откуда ты это выводешь? Небо в этот час не может быть более ясным; закат солнца великолепен. Облачко, беспокоящее тебя, еще далеко и может легко рассеяться.

– Это правда; но не чувствуешь ли ты, что ветерок, который рябит теперь морскую поверхность, предсказывает ветер с северо-запада?

– Но кто тебя, девушка, всему этому научил?

– Это мое родное море, – отвечала она, вздыхая и наклонив к груди голову, выражая этим то горе, какое испытывала она, прощаясь с ним; потом, подняв свои прелестные глаза и смотря в лицо навклера, продолжавшего глядеть на молодую девушку с восторгом очарованного: – Поспеш, о навклер! – продолжала она, как бы желая освободить его от овладевшего им чувства, а между тем испытывая и в своем сердце какое-то тайное волнение.

Придя в себя, он, действительно, послушал совета; тотчас же распорядился повернуть паруса, опустившиеся на мачты вследствие слабого ветра, дувшего притом в другую сторону, приказав в то же время рулевому направить судно к острову. Как только это было исполнено, судно, подталкиваемое уже начинавшимся северо-западным ветром, вышло из неподвижного состояния и вскоре быстро поплыло по направлению к неопределенной еще массе, видневшейся вдали и которую молодая невольница принимала за упомянутый остров.

– Девушка! – заговорил тогда вновь навклер. – Большой кажется мне твоя опытность в морском деле. Ах, не оставляй меня по крайней мере до тех пор, пока я не выйду из этих вод, по которым я плыву впервые; я прошу тебя об этом именем Венеры Афродиты⁵ и всеми морскими богами. Будь с этой минуты ты настоящим капитаном моего судна!

Молодая девушка, опустив стыдливо взор свой и сильно покраснев, казалось, молчаливо соглашалась на это предложение.

Не прошло нескольких минут, а ветер значительно усилился и вместе с ним на море спустились сумерки. Черное облачко, указанное перед тем девушкой, разрослось уже на горизонте и, подобно темно-синему покрову, медленно заволакивало собой небо. Огненный диск солнца,

⁵ Греки называли Венеру Афродитой, придавая ей такое название, как утверждает Гесиод, от пены Ионийского моря, от которой она родилась.

уже лишенного лучей, готов был опуститься в морские волны, отражавшие еще красноватый свет, а дневная теплота начала сменяться холодом, заставлявшим невольно вздрагивать.

Неволея, почувствовав дрожь, сделала движение, как бы желая скорчиться; но навклер, быстро сняв с себя лацерну, род плаща с капюшоном, заимствованного римлянами от галлов, предложил его девушке, прося ее укутаться; затем, вынув из кармана капюшон, прикрепил его пряжкой у ее шеи.

А ветер между тем все продолжал усиливаться; небо темнело с каждой минутой, облака быстро плыли по нему, полные грозой, и падали дождем позади судна; крупные капли воды попадали уже и на судно; море заиграло большими волнами, и воздух предвещал наступление бури.

Но вот показался весь остров; до него оставалось недалеко. Навклер приказал спустить паруса и приняться за весла; судно входило уже в порт.

– В *каверну*⁶! – крикнул в эту минуту лорарий невольникам обоего пола, находившимся на палубе и смотревшим на маневры матросов; в то же время в воздухе раздался визг ремней ужасной плети, бывшей в руке лорария и которой этот зверь торопил невольников к исполнению его приказа.

Неволея, не имея никакого желания подвергаться наказанию, также готовилась удалиться в каверну, когда навклер, остановив ее за руку, обратился к стоявшему близ него пассажиру, давшему упомянутый приказ лорарию, очевидно, как подчиненному ему лицу⁷.

– Эпикад, – сказал ему навклер, – с тех пор, как мы оставили берег, эта девушка два раза спасла нам жизнь; позволь же, чтобы она укрылась на эту ночь в моей *диаэте*.

Эпикад согласился.

Навклер провел молодую невольницу в диаэту – так называлось особое помещение для хозяина или капитана (*magister*) судна, устроенное на палубе в виде палатки, – пригласив и Эпикада укрыться в ней от сильно лившего уже дождя. Сам же он остался пока на палубе, так как судно вошло уже в порт и нужно было распорядиться поставить его тут в безопасное место ввиду того, что все предвещало, что ночью непременно сбудется предсказание Неволен о буре.

Среди сильного свиста ветра раздавался громкий голос рулевого, оставившего руль и отдававшего матросам приказание бросать якорь.

Когда судно было установлено на своем месте, на палубе не осталось никого, и только слышны были шум волн разгуливавшегося моря от обрушившейся на него бури и стук и визг якорной цепи.

Оставим же шуметь урагану; теперь читатель вправе спросить у меня, кто был навклер, с которым я его уже познакомил, что привело его в это море и куда шло его судно.

Прежде всего скажу, что история, рассказываемая мной, начинается в 760 году от основания Рима, то есть на 7 году христианского летосчисления, когда в Риме царствовал Цезарь Август.

Навклер был из Помпеи, одного из городов Великой Греции, как называлась в то время нынешняя неаполитанская провинция. Этот город сделался потом знаменит вследствие катастрофы, случившейся с ним в 79 году по Р. Х., когда он был похоронен под пеплом и шлаками одного из самых ужасных извержений Везувия. Мунаций Фауст – так звали навклера – был сыном Мунация Атимета из аристократической фамилии, гордившейся многими из своих членов, бывших консулами в Риме и декурионами в Помпее. Пользуясь предоставленной ему отцом свободой в своих действиях и зная хорошо, что служба в милиции не в состоянии открыть ему, помпеянцу, дороги к почестям и высшим гражданским должностям, так как в то

⁶ Каверна – углубление в нижней части судна, служившее местом для балласта.

⁷ Этот пассажир был конвоиром невольников во время их перевоза. В сочинениях Фукидида это лицо называется мастигофорус; слово это перешло и в латинский язык, сохранив свое значение.

время Помпея считалась гнездом зловредных для империи людей, – Август, вследствие этого, устроил там военную колонию, – он решился посвятить себя торговле и этим путем добыть богатство. Вместе с тем ему казалось, что, занимаясь торговлей, он может спасти себя от лени и праздности и достигнуть в своем городе такого общественного положения и значения, которое сделало бы его равным высшим городским сановникам.

Хотя Помпея была городом третьего разряда, но как морской торговый пункт имела большое значение, так что сюда приезжали купцы из Греции и Египта; а Сарно, на берегах которой был расположен этот город, представляющая ныне ничтожный ручеек, в то время была так богата водой, что по ней товары отправлялись внутрь Кампании, многие города которой сообщались с морем посредством этой реки.

Знакомство Мунация Фауста с упомянутыми купцами еще более способствовало осуществлению его намерений.

Имея, как житель коммерческого и приморского города, кое-какие сведения в мореплавании, он подготовился к делу скоро: приобретя в нем большой навык и известную опытность рядом путешествий, он смело повел дело на свой собственный счет. Он нанял сперва несколько коммерческих барок и, нагрузив их по совету своих друзей оливковым маслом, вином и розами Кампании, отправился с ними в Египет, откуда привез папирусы, пшеницу и стекло; попытка эта вполне удалась, да и не могла не быть удачной, так как подобного рода обмен советовал еще Марциал в следующем стихе:

Mitte tuas messes; accipe, Nile, rosas⁸.

После этого Мунаций Фауст приобрел собственное большое судно, годное для перевозки всякого рода товара и грузов; на этом-то судне шел он от берегов Греции и укрылся с ним у того острова, где мы его оставили.

Составив экипаж из молодых и сильных матросов и старого кормчего, Мунаций Фауст, полагаясь на опытность этого последнего и свои собственные знания, пустился в далекое путешествие, дойдя до Симплегады, у самого входа в Эвксинский Понт, нынешнее Черное море; здесь случай помог ему заключить выгодные торговые сделки.

На востоке империи он приобрел хорошую коллекцию драгоценных камней и благовонных масел, вывезенных из Персии, и, встретясь там с Азинием Эпикадом – полупарфянином и полуримлянином, как пишет о нем Светоний, – согласился отвезти его на своем корабле в Италию вместе с двадцатью молодыми невольниками, фригийцами, купленными в Сирии и предназначавшимися не столько для работ, сколько для забавы богатых римлян, и с таким же количеством молодых невольниц, большей частью из Лезбии и Милета, между которыми находилась и Неволей Тикэ, с которой я познакомил уже читателя.

Сойдя на берег в Смирне, Мунаций Фауст накупил там милетской шерсти, лаоконийского пурпура, шафрана и вин с горы Тмолы и лидийских гончарных изделий, кроме того, новую коллекцию восточных драгоценных камней и, между прочим, эритрейский жемчуг.

Таким образом, судно Мунация Фауста имело полный груз, представлявший собой целое богатство.

Опишем теперь вкратце конструкцию этого судна, имеющего также свою историю или, по крайней мере, археологический интерес, так как рисунок его сохраняется до сих пор, вырезанный на монументе, упомянутом мной в предисловии к этой книге и находящемся на *Via delle Tombe*, в Помпее. Этот монумент, как читатель, вероятно, припомнит, воздвигнут самой Неволеей Тикэ.

⁸ Посылай нам, Нил, свои жатвы и получай от нас розы (*лат.*).

Я сказал уже выше, что это судно могло перевозить всякого рода товары и грузы, такие суда назывались у римлян *navis oneraria*; здесь же добавлю, что конструкции оно было тяжелой, с круглым дном, без железного носа, но покрытое все палубой и маневрировалось помощью парусов, без весел. Оконечности его были украшены особыми орнаментами: носовая часть оканчивалась головой Минервы, задняя же поднималась в виде лебединой или гусиной шеи, единственная мачта была подвижной, то есть она снималась со своего основания, что всегда делалось, когда судно находилось в порту; на верху мачты были реи, к которым прикреплялись паруса. Кроме этого, в носовой части находилась будка для стоявшего там во время плавания матроса, а близ этой будки диаэта, то есть капитанская палатка. Руль имел форму длинного и широкого весла.

Все было прибрано на палубе; матросы, окончив свою работу, куда-то исчезли, и лишь в диаэте, вокруг стола, прикрепленного к палубе и на котором горела красивая помпейская бронзовая лампа о трех фитилях, сидели Мунаций Фауст, Азиний Эпикад и Неволей Тикэ, молодая невольница; оба последние были приглашены первым разделить с ним ужин.

Буря не унималась; море бушевало с яростью, и под напором его волн грохотали железные цепи, удерживавшие судно на месте, а самое судно скрипело и трещало; но три пассажира, сидевшие в диаэте, чувствовали себя в безопасности.

– Эпикад, – сказал Мунаций, желавший переменить разговор, касавшийся до тех пор предметов, его не занимавших, – я, право, не знаю, могло ли бы мое судно выдержать такую бурю, если бы Нептун устами Неволей не предупредил нас об опасности.

– Ураган, действительно, страшный, – заметил Эпикад, осушая циату⁹ хиосского вина.

– А ты, Эпикад, не предсказал его, хотя и знаком с морем?

– С этим я не знаком, – отвечал тот. – Я не был здесь со времени македонской войны: да, тебе известно, между прочим, что я постоянно плавал лишь Ионию и Тиррен; что известно было также и божественному Цезарю, которому я помог захватить пиратов, взявших было его в плен, и распять их всех, но прежде отняв у них с процентами те деньги, которые получили они перед тем за свободу Цезаря. А с этими проклятыми Цикладами, особенно бурными в начале марта, вряд ли когда-нибудь познакомлюсь.

– А вот она их знает, дав нам совет отойти от мыса, что под Марафоном, и отгадав в черной точке на небе Аттики бушующую теперь непогоду.

Говоря это, Мунаций предлагал молодой невольнице лучших смирнских фиг, родосских пирожных и римских белларий – конфет, отличавшихся превосходным вкусом и подававшихся даже на роскошных пирах Мецената и Поллиона; потом налил ей в резную хрустальную чашу, называемую диатретой, нектара и старого хиоса, своим цветом еще более выделявшего слова, красовавшиеся рельефом на чаше и говорившие: «*Bibe, vivis multos annos*», то есть «Пей, будешь жить много лет». В то же время он спросил у нее:

– Сколько лет, Неволей, ты считаешь от своего рождения?

– Шестнадцать, – отвечала девушка.

При таком ответе вопрос не мог оказаться нескромным.

– И ты уже так опытна в мореплавании, что можешь быть нашей наставницей в нем.

– Я много раз плавала между родным мне Милетом и Аргосом, по Карийскому морю и Цикладам. Мой отец принадлежал к мудрецам моей родины: ему были известны звездные законы и все науки; я училась у него.

– Ты не родилась невольницей?

– И не умру ею, – отвечала она лаконически.

Мунаций, удивленный таким решительным ответом, бросил взгляд на Эпикада.

– А откуда у тебя такая уверенность? – спросил ее пират.

⁹ Циата – римская мера, заключавшая в себе такое количество жидкости, какое можно было выпить за один раз.

– От судьбы. Придет день, когда наши роли переменятся, и ты будешь вознагражден за то, что избавил меня от сирийских разбойников и обходился со мной человеколюбиво.

– Уверена ли ты в этом, о Тикэ?

– Разве когда-нибудь ошибались фессалийские предсказания?

Неволея отодвинула от себя все предложенные ей лакомства и даже не дотронулась губами до вина, так как ей, как девушке, употребление вина запрещалось родными обычаями.

Мунаций Фауст, заметив, что непогода сделалась тише и что девушка может чувствовать усталость и нуждаться в отдыхе, предложил ей уйти за перегородку, плотно отделявшую одну часть диаэты от другой, и лечь на находившуюся там постель.

– Да хранят тебя боги, о навклер, – проговорила Неволея, вставая и уходя в указанную комнатку.

Оставшись наедине с Азинием Эпикадом, Мунаций Фауст, промолчав некоторое время, погруженный в думы, сказал наконец:

– Какую цену назначаешь ты за эту невольницу?

– Тебе должно быть известно, – отвечал старый пират, – что милетские невольницы самые красивые и грациозные и поэтому самые дорогие. Да я и не имею дурного товара, смотри: те фригийские юноши, которых ты видел на палубе, будут куплены у меня за шестьдесят червонцев каждый. В настоящее время этот товар поднялся в цене.

– Но какую же цену ты назначил за Неволею?

– Клади вдвое.

– Она моя! – воскликнул тотчас Мунаций. – Вот тебе деньги! – и, вынув из туники кошелек, стал открывать его.

– Мунаций Фауст, – прервал его Эпикад, – разве я не сказал тебе, что Неволея уже продана?

– Клянусь Геркулесом! Этого не может быть.

– Это так есть, навклер.

– А кому ты везешь ее?

– В Рим.

– Кому, спрашиваю я?

– Каю Торанию, богатому купцу.

– Торговцу человеческим мясом, хочешь ты сказать?

– Называй его, как хочешь; ты можешь купить ее у него.

– А не можешь ли ты скрыть покупку Тикэ и воспользоваться двойной ценой, которую я дал тебе за нее?

– Я никогда не изменял доверию, а если бы это и сделал, то лорарий донес бы на меня.

Сделавшись мрачным и печальным, Мунаций погрузился в глубокое молчание, прерывая его лишь долгими и сильными вздохами, выходившими из взволнованной груди.

Наконец и оба собеседника, в свою очередь, опустились на застольные лежа, на которых находились во время ужина и последнего разговора.

Старый пират не замедлил заснуть; его сильный храп мог быть слышен по всему судну.

А Мунаций Фауст?

Нам неизвестно, был ли Морфей одинаково благосклонен и к нему.

Буря, начавшаяся так неожиданно и бывшая столь сильной, стала быстро утихать и готова была совсем прекратиться. Но взволнованное море продолжало еще бить в скалы шумными волнами и, поднимая судно, грохотать его цепями.

Глава вторая

Обещание

Слабый свет приближавшейся зари только что начинал гнать ночные потемки, когда Мунаций Фауст вышел из своей дияэты и, бросив взгляд на море, увидел, что оно совершенно успокоилось. И небо также почти очистилось: клочки дымчатых облачков, ничтожные остатки грозowych туч прошлой ночи уходили за северный горизонт.

После этого, осмотрев палубу своего судна и все его принадлежности, навклер с удовольствием заметил, что бывшая буря не причинила никаких повреждений. Подойдя к носовой будке, где стоял ночной сторож, и найдя последнего задремавшим от усталости, естественной после тяжелой работы предшествовавшего вечера, Мунаций Фауст разбудил его и сказал:

– Иди и разбуди всех остальных: пора в путь, нам нужно наверстать потерянное время.

Молодой матрос, вскочив на ноги и стыдясь, что хозяин застал его спящим, поспешил исполнить приказание, войдя под навес, устроенный из парусов и веревок, и разбудив лежавших там рулевого и прочих людей.

В одно мгновение все были на своих местах. Кормчий скомандовал поднимать якорь и убирать цепи, и матросы живо принялись за работу. Тотчас же послышался визг блоков, по которым бежали канаты, и грохот цепей, и этот шум торопливой работы был достаточен, чтобы пробудить и остальных лиц, спавших еще на судне.

Между тем солнце начинало подниматься с горизонта далекого Эгейского моря, и поверхность Циклад, еще слегка колыхавшаяся, отражала розовый свет зари.

Прежде нежели ее несчастные товарищи по рабству вышли из каверны, Неволея уже оставила дияэту, и ее грациозная фигура появилась на палубе.

Тот, кто был свидетелем гнева разъяренного моря в предшествовавшую ночь, мог принять в эту минуту красивую милетскую девушку за обитательницу Олимпа, Тету, богиню страшного элемента, который от одного присутствия ее приходил в спокойное состояние.

Неволея была назначена самому знаменитому из римских торговцев невольниками, который приказал, между прочим, Азинию Эпикаду при покупке молодых гречанок заботиться о том, чтобы они были одеты в свои национальные костюмы; хитрый купец знал по опыту, что оригинальность одежды увеличивает ценность его товара. Поэтому и Неволея была одета точно так, как одеваются милетские богатые девушки, и во все время путешествия не снимала своего национального костюма, так что те из ее спутников, которые не знали вышеупомянутого наказа римского торговца, и не подозревали в ней невольницу.

Прежде всего бросалась в глаза удивительная красота ее благородного лица, нежность и девственная прелесть которого казались идеальными при голубых глазах и коралловых губках; оно окаймлялось прекрасными и длинными волосами золотистого цвета, лежавшими завитками и волнами у лба и свободно бежавшими по плечам, едва сдерживаемые посредине головы анадемой¹⁰ или повязкой, как требовал местный обычай. Длинный покров из тирской шерсти пурпурного цвета закрывал ее элегантную фигуру, но не настолько, чтобы не видеть под ним туники аквамаринового цвета – откуда и самое название этой туники: куматилис – с длинными рукавами ионийской формы, то есть моды, которой следовали в то время все женщины зажиточных классов как в Греции, так и в Италии.

Улыбка лежала на ее губах и светила в ее глазах; казалось, что счастливые, веселые сны наполнили довольством ее душу и придали ее красоте тот божественный ореол, который

¹⁰ Анадема, как свидетельствует Лукреций и другие древние писатели, носилась в Греции не только женщинами, но и юношами и служила эмблемой царского или знатного происхождения.

даже в ее родном Милете заставлял говорить, будто ее мать возбудила к себе страсть в одном из богов Олимпа и что Тикэ была плодом этого таинственного союза.

Мунаций Фауст, глаза которого до того постоянно обращались к диаэте, а мысли – к спавшей в ней красавице, как только увидел Неволею, почувствовал жар в своем лице и сильное биение в сердце. Пурпуром покрылось и лицо Неволей при первом взгляде ее на молодого навклера; но, чувствуя себя обязанной ему за его доброту и внимание к ней, она первая пошла к нему навстречу и, приложив правую руку к губам, – вежливое и почтительное приветствие того времени – проговорила:

– Приветствую тебя, Мунаций; сегодня мы будем иметь великолепную погоду, и Нептун и прочие морские боги будут к нам благосклонны.

Навклер, обрадованный тем, что при приветствии девушка произнесла его имя, приложил, в свою очередь, руку к сердцу и, протягивая ее Неволее, отвечал:

– Приветствую также и тебя, о девушка, которой обязан я спасением своей жизни и всего богатства.

– Кто сказал бы, – продолжала Неволея, – смотря на это тихое море, что вчера оно было таким бурным?

– Это правда. Теперь, Неволея, мне следует возблагодарить твоего бога Нептуна, которого чтит, кажется, и твой отец. Я желаю принести ему в жертву черного ягненка за то, что, говоря мне твоими устами, он избавил меня и всех прочих от кораблекрушения и разорения. Тебе же, девушка, я хочу выразить иначе свою благодарность: пока ты останешься на моем судне, будь на нем повелительницей.

Неволея стыдливо опустила свои прекрасные глаза, но несколько мгновений спустя, подняв их вновь, сказала без всякой робости:

– В таком случае, о Мунаций, я желаю рекомендовать тебе моих несчастных товарищей по плену. Находящиеся тут девушки – мои соотечественницы, а юноши-фригийцы, так же как и мы, родились свободными и принадлежат к фамилиям Евпатридов, то есть, употребляя римское выражение, к роду патрициев. Позволь мне, великодушный Мунаций, принести жертву богине – хранительнице твоего судна, Минерве, изображение которой украшает его переднюю часть; я принесу ей в жертву петуха.

– Пусть будет исполнено твое желание, добрая и набожная девушка, а я постараюсь, чтобы Азиний Эпика не сопротивлялся моему желанию.

Между тем, подталкиваемое утренним ветерком, судно быстро плыло под вздутыми парусами, пройдя уже значительную часть моря.

Ясное и веселое утро развеселило всех, находившихся на судне. Молодые девушки, соотечественницы Неволен, желая показать, что и им известно, что лишь ее молитвами гнев Нептуна сменился на милость, подбежали к ней и стали благодарить и обнимать ее; вместе с ними Неволею приветствовали и фригийские юноши; и как бы забывая свою участь и увлекаясь пылкостью и молодостью, всегда беззаботной, отдались веселью: они приняли участие в маневрах матросов; подобно им взбирались на мачту и реи и показывали там свою ловкость и силу; потом устраивали другие игры, пели свои родные песни и т. д., так что делалось весело, смотря на них. Их веселью не мешал ни Эпикад, ни злой лорарий; первый был удовлетворен дорогим подарком, второй – целым кувшином хорошего старого вина, которого могло хватить ему на всю дорогу.

Мунаций Фауст, со своей стороны, исполняя обет, произнесенный им в присутствии Неволей, приказал поставить на палубе жертвенный алтарь, и, когда все было готово к жертвоприношению, он, подобно каждому отцу семейства, будучи жрецом в собственном своем доме – а навклер был таковым на своем корабле, – приступил к совершению религиозной церемонии, причем все бывшие на палубе поспешили окружить жертвенник и жреца.

Матросы, исполняя обязанности служителей при подобных церемониях, принесли невинного и совершенно черного агнца и зажгли жертвенник *focus turieremus*, то есть медный сосуд с раскаленным углем, откуда стал подниматься голубоватый дым, распространявший вокруг благоухание.

Мунаций Фауст, произнеся соответствующие церемонии заклинания, взял священный нож и, подавая его Неволее, сказал:

– Тебе, дочери служителя богов и возлюбленной ими, принадлежит честь жертвоприношения.

Взяв у Мунация священный нож и знакомая с обрядом, Неволей отрезала от жертвы, лизавшей в это время ее белую руку, клочок шерсти и бросила его на уголь, где шерсть тотчас испепелилась. Затем, вынув из маленького ковчега еще более душистые фимиамы, возобновила ими благоухания, исходившие из медного сосуда.

После этого кормчий, приняв от Неволей священный нож, ударил им жертву под горло и убил ее; внутренности жертвы были тотчас вынуты, и по ним стали гадать о будущем пути. Этим закончилось жертвоприношение Мунация.

Затем следовало принесение жертвы богине Минерве. Петух был положен на жертвенник, и, после новых курений фимиама, жертва была совершена самой Неволеей.

После этой жертвы молодые девушки вручили Неволее музыкальный инструмент вроде лиры, усовершенствованной присоединением к ней гармонического ящика и называемой «черепахой»¹¹.

Едва лишь первые звуки раздались под пальцами милетской красавицы, вокруг нее воцарилось благоговейное молчание. Все обратили свои взоры на Неволей в трепетном ожидании ее пения. С восторгом глядел на нее помпейский навклер, для которого в эту минуту она преобразилась в вдохновенную небожительницу.

После торжественной прелюдии она запела.

Это был гимн, который раздавался в храмах богини Минервы во время ее праздников, бывших в Афинах каждые пять лет. В этом гимне воспевались как благодеяния могущественной богини, так и подвиги афинского народа, находившегося под ее покровом.

Когда Неволей умолкла, все слушатели стояли, как очарованные, – так сладки и гармоничны были модуляции ее голоса. Никогда губы смертного не произносили с таким совершенством и с такой гармонией хвалы своему божеству. Так думал Мунаций, который под влиянием чувства, возбужденного в нем пением Неволей, готов был броситься к ее ногам и обожать ее, как сверхъестественное существо.

Фригийские юноши закончили священные церемонии своим национальным религиозным танцем, а вечером Мунаций Фауст угостил всех своих пассажиров роскошным пиром.

С того дня казалось, что торговое судно помпейского навклера везло не несчастных невольников, а одно многочисленное и счастливое семейство.

На третий день после вышеописанной бури судно, при помощи благоприятного ветра быстро пройдя Миртосское море и оставив позади себя воды Пелопоннеса, вошло в Ионию.

Мунаций был извещен об этом своим кормчим, который после этого направил судно к берегам Сицилии; ветер продолжал дуть попутный.

Должен ли я рассказывать о том, как в течение этих трех дней симпатия, так неожиданно явившаяся в душе помпейского навклера к прекрасной невольнице, превратилась в непреодолимую страсть? Там, посреди безграничного и пустынного моря, видя Неволей целые дни перед собой и часто разговаривая с ней, он так сильно полюбил ее, что ему казалась невоз-

¹¹ Такое название этого инструмента объясняется следующей легендой. Его изобретатель, бог Меркурий, гуляя однажды на берегу Нила, нашел черепаховую скорлупу, на внутренней стороне которой остатки высохшей кожи пристали в виде тонких струн, издававших при прикосновении к ним пальца различные звуки. Вследствие этого и гармоническому ящику была придана форма черепаховой скорлупы.

можной разлука с нею. И девушка, со своей стороны, находя удовольствие его слушать и еще более видеть его заботы о ней, должна была заметить, какую пламенную любовь к себе сумела она зажечь в сердце Мунация. Если вначале она не осмеливалась думать о любви, которая не могла быть серьезной и продолжительной, сознавая при этом то ужасное препятствие, какое ставило этому чувству ее настоящее положение, то теперь она увидела, как бессильна девушка в шестнадцать лет в своей борьбе с охватившей ее страстью. Любовь к молодому помпейскому навклеру проникла в ее сердце тихо, вкрадчиво; она чувствовала необходимость его видеть, иметь его возле себя, слушать его речи. Недаром такие поэты, как Овидий и Торквато Тассо, утверждали, что новорожденная любовь необыкновенно сильна.

Мунаций был во цвете молодости, он не достиг еще двадцатипятилетнего возраста, и Неволея любовалась его мужественной красотой, которая, по закону контрастов, женщинам нравится более форм нежных и миловидных. Его голова, покрытая курчавыми волосами, благородное выражение смуглого лица, мужественность всей фигуры делали его похожим на одну из тех импонирующих статуй римских личностей, какие можно видеть еще и ныне среди греческих скульптурных произведений в музеях Флоренции, Неаполя и Рима. Черные и блестящие глаза изобличали тот быстрый ум, каким нередко отличаются жители южной части Италии; а чувство, овладевшее его сердцем и душой, придавало всей его личности в глазах греческой девушки такое обаяние, сопротивляться которому она не могла.

В то утро и Мунаций, и Неволея почувствовали одновременно в своей душе страстное желание открыться друг другу; но в ту самую минуту когда они хотели это сделать, слово замерло на губах у обоих.

Понятно, какие чувства волновали Неволею, когда немного спустя, сидя у входа в диаэту, она играла двумя красивыми яблоками, лежавшими у нее в переднике; по временам она брала их, подносила ближе к глазам и потом конвульсивно вновь бросала в передник.

Мунаций, который в это время не спускал с нее глаз и по сильно колыхавшейся груди и по игре с яблоками отгадывал волновавшие ее думы, решился, наконец, подойти к ней и сказать ей:

– Неволея, свет очей моих, пройдет несколько дней и что станется с девушкой, которой моя душа отдалась, как своей повелительнице?

Скромно опустив голову, она отвечала:

– То, что будет угодно моему господину.

– Каю Торанию? – спросил тихим и почти дрожащим голосом Мунаций Фауст.

На лице девушки мелькнуло выражение крайнего отвращения. Это смутило Мунация, полагавшего, что своим вопросом он напомнил ей ее горькое положение.

– Этот купец продает невольников... – продолжала Неволея, устремляя голубые зрачки своих глаз в лицо молодого навклера, как бы желая вызвать его на ответ, долженствовавший решить ее судьбу.

– Если ты согласна быть моей, я заплачу Торанию столько золота, сколько укажет его алчность; я готов продать для этого свое наследственное имущество, свой дом в Помпее и даже это судно.

– А я готова скорее быть вечно твоей рабой, нежели оставаться свободной без тебя.

– Нет, Неволея, я отдам свою свободу в твои руки, лишь бы только быть любимым тобой.

И они умолкли на несколько мгновений, но для двух молодых и любящих сердец это молчание было красноречивее всяких слов.

– Так ты любишь меня, о Неволея? – решился тут спросить девушку Мунаций Фауст, взяв нежно ее за руку.

Молодая девушка не могла говорить от волнения; вместо ответа она поднесла к своему рту одно из яблок, лежавших в ее переднике и, надкусив, передала его влюбленному навклеру.

В подобных случаях яблоко было для древних молчаливым вестником любви; влюбленные объяснялись в страсти, бросая друг другу яблоко.

Принимая с восторгом яблоко, Мунаций проговорил:

– О Неволеля! С этого мгновенья я считаю тебя своей и клянусь тебе, что в дом моих отцов никогда не войдет женщина, которая не была бы твоей служанкой или невольницей. Пусть падет на меня гнев помпейской Венеры, если я нарушу эту клятву¹².

– И я не буду принадлежать никому другому, кроме тебя, Мунаций Фауст: где ты будешь каем, там я буду каей¹³, и пусть в это мгновение боги слышат и мою клятву.

Как бы желая закрепить произнесенные ими клятвы, они пожали друг другу руки. Затем, немного погодя, Неволеля вновь заговорила:

– Кто мог бы сказать, о Мунаций, чтобы так скоро сбылись слова, сказанные мне Филезией, фессалийской предсказательницей, которой известны тайны неба и ада!

– В чем же ее предсказание?

– От тебя, которого я называю своим господином, я не скрою ничего из своей жизни, но рассказ мой будет долг; сегодня я слишком взволнована, чтобы передать тебе мое прошлое, а поэтому позволь мне, мой дорогой, отложить до завтра исполнение твоего желания, которое является необходимостью и моего откровенного сердца.

– Жизнь и душа моя!¹⁴ – воскликнул с нежностью Мунаций Фауст на греческом языке, как это было в обычае того времени и между влюбленными римлянами. – Пусть будет, как ты желаешь, лишь бы я мог, узнав твои прошлые страдания, заменить их для тебя целым раем блаженства в будущем.

Смущенная Неволеля поспешила скрыться в диаэте, чтобы успокоить там сильное биение своего бедного сердца.

¹² Такая клятва была в употреблении у жителей Помпеи и сохранилась вырезанной на одном из отрывков в этом городе монументов.

¹³ Ubi tu Caius, ego Caia – Там, где ты -кай, я -кай (*лат.*). Такими словами, по утверждению Плутарха, встречала молодая своего мужа, как бы желая этим выразить: там, где ты хозяин и господин, там и я хозяйка и госпожа; известно также, что имена Кай, Тит и Семпроний считались у римлян счастливыми.

¹⁴ Во время Марциала и Ювенала римские солдаты-селадоны так злоупотребляли этой греческой фразой, что употребление ее было осмеяно этими писателями в эпиграммах.

Глава третья

Рассказ Неволеи

На следующий день погода была еще лучше, и коммерческое судно помпеянца плыло горделиво по Средиземному морю, в небольших и прозрачных волнах которого ярко отражались солнечные лучи и играли дельфины.

Ранним утром поднявшись с ложа, Мунаций Фауст и Неволея поспешили сойтись на том самом месте, где мы видели их накануне. Неволея заговорила первой:

– Мунаций, я готова теперь исполнить данное тебе обещание. Слушай же историю моей прошлой жизни. Родина моя, как тебе известно, Милет – город, где родился мудрый Фалес¹⁵ и прелестная Аспазия Перикла¹⁶.

Моим родителем был Тимаген; то же имя носили и двое из моих славных предков, один из которых был историком, написавшим историю Гераклеи, другой – стратегом, умершим за отечество: он был убит в херонейской битве. Моя мать, Диофина, происходит также из хорошей фамилии Аттики. Я росла в храме и, следуя благородным традициям нашего семейства и девушкам моего общества, изучала сочинения наших знаменитых писателей и древних поэтов. Мне знакомы все девять муз Геродота, а также поэмы Ромера, сочинения Гесиода, песни Пиндара и Тирцея, идиллии Феокрита, многие произведения Анакреона, Алцея и Сафо, как и серьезные страницы Фукидида и Ксенофонта; я знаю также Эсхила, Еврипида и Софокла, Аристофана и Менандра; а Ефидем учил меня играть на струнах звучной черепахи, и за свою игру, которую вы слышали вчера, я была признана лучшей исполнительницей на этом инструменте. За это я удостоилась, десять месяцев тому назад, чести быть посланной моим городом в Афины, на праздник Минервы-Паллады, во время которого был впервые исполнен и тот гимн, который я пела при вчерашнем жертвоприношении.

Мне была знакома Аттика, так как оттуда, что я тебе уже говорила, была моя мать и там, среди ее родных, я провела свое детство. Я отплыла от родного берега вместе с молодыми канефорами¹⁷, которые везли всемогущей богине дары от нашего города. Между этими девушками находилась дочь Леосфена, по имени Фебе, моя сестра по сердцу, выросшая в нашем доме и отличавшаяся своими изящными формами и своей красотой. Она была моей неразлучной подругой, и благочестивое путешествие в Афины было для нас обеих, да и для всех прочих девушек, плывших туда вместе с нами, настоящим праздником. К нашему судну присоединились и многие другие, ехавшие в Афины с той же целью из прочих местностей, и на всех палубах раздавались звуки цитр и разные песни.

Море, радуясь нашему веселью, оставалось спокойным, и небо также не затемнялось ни одним облачком; по ночам же ярко блескавшие звезды были верными путеводителями для наших опытных кормчих.

¹⁵ Фалес Милетский (предположительно 624–548 до н. э.) – один из семи греческих мудрецов; древнегреческий философ и математик из Милета (Малая Азия). Представитель ионической натурфилософии и основатель милетской (ионийской) школы, с которой начинается история европейской науки.

¹⁶ Аспазия – знаменитая своим умом и красотой, сперва любовница, а потом и жена Перикла; также была из Милета. Она во многом способствовала развитию греческой цивилизации: преподавала риторику в Афинах, и Сократ был в числе ее слушателей. В том же городе, кроме прочих известных поэтов и ученых Греции, родился историк Аристид, автор нескромных рассказов, послуживших темой Апулею, написавшему «Золотого осла», и физик Апиксимен, изобретатель квадранта.

¹⁷ Канефоры (*греч.* носящие корзины). Так назывались в Древней Греции молодые девушки, приносившие богиням в дни их празднования дары, состоявшие преимущественно из корзин с цветами и благовонными веществами. В праздники Дианы, богини охоты, канефоры приносили дары от имени тех из своих подруг, которые желали отказаться от данного ими обета оставаться девственными; отсюда и сами праздники в честь Дианы назывались канефории.

Наконец перед нами, вдали, показался Акрополь¹⁸, и мы приветствовали его, как священное место, хранящее следы божества, нашими гимнами; а когда мы прибыли в Пирей, нас встретили там ликующие толпы народа.

Тебе, римлянин, известно, что милетские девушки слывут в Греции за самых грациозных, и поэтому, когда мы вступили на берег священной земли, одетые все в белоснежные одежды и укутанные покрывалами, в толпе послышался шепот похвалы и удивления.

На следующий день началось празднество. Необыкновенно торжественна и великолепна была процессия к Акрополю. В ней приняли участие со своими дарами все греческие страны, приславшие сюда с этими дарами лучших и самых красивых из своих девушек; гордясь своей родиной, я не могу умолчать тебе при этом, что пальму первенства все отдали нам, прибывшим из Милета.

Фебе, моя дорогая подруга, предшествовала хору канефор, а я находилась во главе девушек, шедших с лирами; на всем пути мы были предметом общего внимания и одобрения.

Ты не видел удивительных произведений Фидия, его грандиозную Минерву, сделанную из слоновой кости и золота, и еще более поразительный труд этого божественного художника, Парфенон¹⁹, украшенный изображениями героических подвигов афинского народа. Хотя ваш полководец Силла лишил нашу страну многих из лучших произведений искусства, взяв их с собой в Италию, но все-таки у нас осталось довольно памятников, напоминающих нашу прошлую славу; одного Парфенона было бы достаточно для этого. Представь же себе посреди этих чудес, созданных греческим гением, многочисленную массу народа, собравшегося на праздник великих Панафиний²⁰ со всех концов Греции; хоры наших девушек, идущих мимо изображения суровой богини и приветствующих ее своим пением и музыкой; бесчисленные дорогие дары; общую радость и восторг, заставлявшие в эту минуту забывать неприязнь и раздор между нашими главными городами, и ты поймешь, великодушный римлянин, как мне тяжело и больно покидать свою Грецию и видеть ее погибающей под вашими ударами. Ах, эти наши великие празднества – последний отблеск того света, который когда-то озарял всю Грецию и который ежеминутно умалывается от римского оружия!

Прости мне, Мунаций, если я отдаюсь таким печальным мыслям, замедляющим рассказ моей жизни, который ты так желаешь услышать; но, с другой стороны, стал ли бы ты уважать меня, если бы я оставляла мою родную землю, мое небо, мое море без единой слезы, без слова сожаления?

Между лицами, прибывшими на великие Панафинии, находились также чужестранцы; на эти праздники съехались даже из Сирии, этого гнезда пиратов. В толпе, аплодировавшей нам во время праздничной процессии, находился, между прочим, красивый молодой человек со смуглым лицом и орлиным взглядом; он был в одежде сирийского купца. Его нельзя было не заметить. Его взор, вся его фигура имела что-то притягивающее; но не скажу, чтобы впечатление, которое он производил, было в его пользу; по крайней мере, чувство, произведенное на меня этим человеком, походило скорее на отвращение.

С той минуты, как наши хоры присоединились к праздничной процессии, этот незнакомец не оставлял нас, преследуя повсюду. Но главное внимание свое он обращал не на меня, а на мою подругу Фебе, которая, будучи немного старше меня, отличалась более роскошной красотой. Его страстный взор, казалось, пожирал грациозную фигуру этой девушки, горделиво

¹⁸ Акрополь (*греч.* высокий город) – афинская цитадель, выстроенная Кекропсом и посвященная богине Минерве. Во время Павсания (170 год до Р. Х.) там показывали побеги от ее оливкового дерева, следы трезубца, оставленные богом Нептуном на скале, и остатки той воды, которая вышла тогда из нее.

¹⁹ Парфенон – афинский храм Минервы. Это название происходит от греческого слова «парфения», означавшего девственность – качество, которое приписывали Минерве.

²⁰ Панафинии – праздники у греков в честь Афины-Паллады, то есть Минервы (придаточное слово «пан» к названию города Афины означает на греческом языке «все»).

шедшей впереди целой вереницы молодых канефор, поддерживая обнаженными и белыми, как алебастр, руками стоявшую на ее необыкновенно красивой голове корзину, в которой находились посвященные богине сладкие печенья, цветы, благовонные вещества и жертвенный нож с ручкой из слоновой кости, украшенной золотом и серебром: этот нож предназначен был для заклания жертв, привезенных нами из Милета и которых вели позади, также убранных цветами по нашему религиозному обычаю.

По окончании священных церемоний, когда мы с естественным любопытством бродили по афинским улицам, ища на них святые воспоминания времени Кимона и Перикла, сирийский купец продолжал следить за нами, преследуя нас шаг за шагом, как тень, и все следующие дни нашего пребывания в великолепной афинской метрополии; так что между нами не было ни одной, которая не заметила бы той страсти, какую возбуждала к себе в незнакомце моя подруга Фебе.

Трудно зарождается любовь в сердце греческой девушки к сирийцам, так как они известны у нас как разбойники, разоряющие нашу страну; но упомянутый незнакомец был красив; его злой взгляд, в котором другие заметили бы лишь чувствительность, мог делаться нежным, а его произношение было так правильно, что его можно было принять за природного афинянина. И мы слышали его говорящим в храме Нептуна, который мы посетили при содействии моего отца, пользовавшегося дружбой первого жреца этого храма, Мирона. Сирийский купец подошел к храму вместе с нами, неся в руках различные дары, и был принят Мироном, обратившись к нему со следующими словами:

– Плавая по морям по своим торговым делам, я прошу тебя, о Мирон, сын Лизин, позволить мне положить на алтарь твоего бога, повелевающего морями и бурями, умиловительные жертвы; прими их великодушно, дабы мои путешествия сопровождались успехом.

После этого, войдя в дом Мирона, он вручил ему разные товары, и, видя нас тут же, он попросил у хозяина позволения одарить и нас материями и украшениями, привезенными им, как он говорил, из Сирии и Лидии.

Нужно тебе сказать, что низшим богам у нас жертвы приносятся в ночное время. Так было и в этот раз. Мирон, удовлетворенный богатыми подарками, приказал украсить кипарисами два совершенно одинаковых жертвенника и приготовить черных ягнят. Когда их привели в храм, убранных лентами небесно-голубого цвета, у жертвенников дымился уже фимиам и таинственное пение раздавалось под сводами храма.

В то время как храмовые служители приготовили все необходимое для жертвоприношения, молодой сириец нашел случай приблизиться к Фебе и прошептал ей на ее родном языке признание в любви, на что моя неосторожная подруга отвечала лишь доверчивым молчанием.

Между тем жрец Мирон приступил к богослужению, предшествующему самому жертвоприношению. Остановившись перед изображением Нептуна и прикоснувшись к нему с благоговением, он поднял свои руки к небу и стал молиться, прося покровительствовать жертвоприносителю, и в то время, когда он лил на жертвенник вино, молоко и воду, сваренную с медом, я слышала, как влюбленный незнакомец шептал моей подруге:

– Фебе, о жизнь моих дней, я люблю тебя бесконечной любовью; на моей родине тебе будут принадлежать мои виноградники и мои стада; ты будешь владеть богатствами неисчерпаемыми, если ты примешь благосклонно чувство моего любящего тебя сердца.

– Юноша, – отвечала Фебе, – ты должен знать, что между твоей родиной и моей не может быть ничего общего...

Ах, если бы моя несчастная подруга никогда этого не забывала!

– Фебе, – продолжал сирийский юноша, – я умру тут, у твоих ног, как тот черный ягненок, которого только что принесли в жертву, если ты отнимешь у меня надежду звать тебя когда-нибудь госпожой всего моего имущества.

При этих словах он вынул из-под одежды острый нож и показал его девушке.

Она побледнела и, удержав его руку, торопливо прошептала:

– Не делай этого! – и тут же, дрожа всем телом, схватила меня за руку.

Я хотела увлечь ее оттуда, но иностранец продолжал шептать какие-то слова, которых я не расслышала, а она, как будто очарованная его речью, склонив голову на грудь, оставалась на своем месте, не желая сдвинуться с него.

Вскоре затем окончилось жертвоприношение, а на другой день мы оставили Афины. Я полагала, что, расставшись друг с другом, они забудут свое мимолетное увлечение, но я ошиблась. Не успели мы проплыть Циклады, как не в далеком расстоянии от нашего судна заметили другое, постоянно следовавшее за нами; мы тотчас узнали в нем судно сирийского купца, так как оно отличалось от греческих тем, что кроме парусов на нем были и весла. Оно не теряло нас из вида почти до самого Милета, но, когда мы приближались к нашему городу, оно неожиданно скрылось от нас за выдающимся мысом острова Лерое, лежащего напротив Милета. Немного спустя мы вошли в наш порт, где на берегу я встретила своего старика-отца, которому бросилась в объятия.

С такой же радостью обняла Леосфена его несчастная Фебе.

Прижимаясь к родительской груди, мне казалось, что я находилась вне всякой опасности; не то было с Фебе: в ее сердце любовь уже горела сильным пламенем.

Несчастливая девушка, отдавшись своему чувству, избегала даже меня, старавшейся рассеять ее надежды; ее холодность и недоверие ко мне заставляли меня страдать.

Сад, окружавший дом моего отца, спускался к самому морю; и часто по вечерам мы бегали по дорожкам этого сада и бродили по морскому берегу, вдыхая в себя свежий морской воздух, наполненный душистым запахом роз, апельсинов и олеандров.

Там встретилась я со своей подругой на пятый день по нашем возвращении из Афин. Это было также вечером; мы стояли на берегу. Вдруг моя милая Фебе, которая в эту минуту казалась более обыкновенного задумчивой и грустной, указала мне по направлению к острову Лерое, от которого она не отрывала своих глаз, на лодку, отчаливавшую от берега и при помощи весел быстро поплывшую в нашу сторону.

– Неволеля, – сказала мне Фебе, – послушай, как сильно забилося мое сердце; я убеждена, что в этой лодке находится сирийский юноша.

И она задрожала, как ветка.

– Уйдем, – отвечала я, – уйдем поскорее, Фебе, если ты так боишься.

– Я не боюсь, о нет, я не боюсь, – повторяла она в смущении. – Но его лица, его голоса я не могу еще удалить из своей памяти. Я борюсь между желанием вновь увидеть его и слышать его речи и тем предрассудком, который заставляет нас, греков, ненавидеть сирийцев. О, Неволеля, я люблю его!

И с этими словами она в изнеможении бросилась мне на шею. Я нежно освободила себя от ее объятий и, как будто предчувствуя приближавшуюся к нам опасность, проговорила поспешно:

– О Фебе, уйдем, уйдем, еще есть время!

– Ах, останься, милая Неволеля! – умоляла меня моя подруга, между тем как ее глаза, устремленные на приближавшуюся к нам лодку, искали на ней любимого ею юношу.

– Фебе! – вскричала я со страхом. – Плывущая сюда лодка не простая, как ты думала, это – гемиолия. Посмотри! Одна половина ее не имеет гребцов, она устроена с палубой, и расположение весел не то, нам нужно бежать! – и, говоря это, я тащила ее изо всех сил.

Гемиолия есть особенного сорта лодка, употребляемая разбойниками на наших морях, и поэтому я не могла ошибаться.

Но Фебе, узнав своего возлюбленного, стоявшего на палубе, схватила в свою очередь мою правую руку и проговорила:

– Не уходи, чего нам бояться того, кто меня любит?

И она принудила меня остаться.

Гемиолия была уже у скалы, которой оканчивается у моря одна часть нашего сада, тогда как с другой стороны он огражден высокой стеной. Нужно думать, что сириец заранее ознакомился с нашим берегом. Спрыгнув с палубы на выдававшийся в море скалистый уступ, он с быстротой дикой козы взбежал по утесам, считавшимся до тех пор недоступными, и через несколько мгновений стоял перед ними.

Мы стояли окаменелыми, пораженные такой смелостью, даже Фебе не могла выговорить ни одного слова. Но пират – я не сомневалась более в этом, – бросив быстрый взгляд вокруг и заметив, вероятно, что мы далеко от всякой помощи, резко свистнул и, став перед нами таким образом, что мы очутились между ним и морем и не могли уже бежать, сказал нам:

– Не бойтесь, о благородные девушки, и не подымайте крика.

Через несколько минут нас окружило человек до двадцати, вооруженных с головы до ног.

Я вскрикнула от ужаса и упала без чувств на землю.

Мы были похищены этими пиратами.

Потом я узнала от них же, что милетские лодочники, ради прогулки плывшие в тот час вдоль берега по другую сторону мыса, заметили наше похищение и поспешили к берегу, чтобы дать знать об этом; узнала я также и то, что мой несчастный родитель, стоя на берегу на коленях и простирая руки к сирийскому разбойнику и его товарищам, умолял их возвратить ему дочь, но его раздражавшие душу жалобы и отчаянные движения не тронули разбойников. Видя свои просьбы напрасными, мой отец обратился к своим согражданам о помощи, но эти последние находили невозможным гнаться за пиратами или боялись их преследовать.

– Следовательно, наша поговорка не лжет! – прервал Мунаций Фауст.

– Какая? – спросила Неволея.

– *Quondam fuere strenui Milesii*²¹.

– Ваша поговорка в данном случае была справедлива. Пиратская же лодка как пришла, так и ушла быстро на всех веслах.

Когда я пришла в сознание, я нашла себя на дне лодки, в объятиях своей подруги Фебе, рыдавшей горькими слезами не столько о себе, – ее поддерживало еще чувство любви к пирату, – сколько обо мне. Тут увидели мы себя пленниками в каверне разбойничьего судна.

После того как мы немного успокоились, Фебе, чувствуя, что она была причиной моего несчастья, бросилась ко мне вновь в объятия и, покрывая меня поцелуями, повторяла:

– О, прости меня, Неволея, прости меня.

Полная отчаяния и страдания, я не знала, что отвечать ей.

Затем прошло несколько минут молчания, которое было вновь прервано моей подругой.

– Неволея, – сказала она мне, – увы, теперь я знаю, кто такой сирийский купец, молодой человек, который клялся мне в вечной любви и который похитил нас.

Так как в тоне, с каким она это говорила, слышался страх, то я подняла на нее вопросительный взгляд, и она продолжала:

– Это Тимен, страшный пират карийских и сирийских морей; я слышала, как его товарищи называли его этим именем.

Каждый грек знал имя Тимена. Оно было страхом для мореплавателей; им пугали у нас детей. О нем рассказывается тысяча смелых приключений, свидетельствующих об его необыкновенной храбрости и жадности; многие утверждают, что он жесток, другие опровергают это. Он может превращаться подобно Протею, менять одежду и физиономию и быть неузнаваемым, если он этого сделает. И действительно, будучи в Афинах во время великих Панафиний, он ходил открыто повсюду, и никто не предполагал, что под плащом сирийского купца скрывается страшный пират наших морей.

²¹ Храбры были некогда милетцы (лат.).

– Бедная моя голубка! – воскликнул тут Мунаций Фауст, слушая со вниманием рассказ Неволена. – Что же было с тобой в руках этого кровожадного коршуна?

Неволея продолжала:

– Нас увезли в Адрамиту, в маленький мидийский городок, где мы оставались некоторое время. Тимена мы не видели: он разбойничал в это время на морях, и Адрамита была его гнездом, куда привозил он свою добычу. Фебе и я, мы были предметом особенных забот всех слуг Тимена, и мы не знали, что думать о своем положении в его доме. Быть может, он ждал богатого выкупа. Нужно сказать, что мой родитель мог умереть от горя, если бы не нашел возможности освободить меня; а Тимен мог бы получить за нас от него большой выкуп, если бы он не имел в виду другой, еще более выгодной сделки. На Леосфена, отца Фебе, нельзя было рассчитывать: этот старик был беден и он мог надеяться лишь на великодушие и доброту моего отца.

Фебе все еще питала надежду: ее сердце вместо того, чтобы излечиться от любви, возбужденной в нем сирийским купцом, еще более воспламенилась, когда она узнала в своем возлюбленном смелого пирата Тимена. О Фауст! Сердце женщины так уж создано: она восторгается всем необыкновенным; даже если это необыкновенное преступно, в последнем случае чувство даже усиливается. Довольство, каким мы пользовались в доме Тимена, еще более поддерживало ее золотые мечты; она верила в его любовь и объясняла его отсутствие необходимостью его предприимчивой жизни.

Что касается меня, то, не имея никакой причины подчиняться той же участи, какая ожидала Фебе, и не желая вместе с тем своими рассуждениями разочаровывать свою подругу, уничтожать ее иллюзии, успокоившие и делавшие ее счастливой в самом несчастье. О! Мне было тяжело думать о будущем, и сердце мое разрывалось от страдания и отчаяния.

Тут Неволея прервала свой рассказ не столько для отдыха, сколько под давлением тяжелых воспоминаний, но вскоре, придя в себя и взглянув с улыбкой любви на молодого помпеянца, Неволея продолжала:

– В доме Тимена находилась одна сага, старая женщина из Фессалии, которой были открыты все тайны природы и которая предсказывала будущее. Она была дочь Эриктоны, о которой, я думаю, римляне сохраняют еще память.

– Чем же была эта Эриктоня и что общего имела она с ними?

– Так как ты имеешь время слушать меня, то я расскажу тебе, Мунаций, в нескольких словах об этой саге.

Говорят, она была бледная, сухая, с всегда растрепанными волосами, как у ее дочери; отвратительная и страшная лицом и с грубыми манерами. Ее часто видели блуждающей, подобно шакалу, между трупами, по полям битвы; она любила ночную темноту и бурю, разговаривая с ветром и никогда не показываясь при солнечном свете. Она не боялась ни одного бога, но боги исполняли ее злые просьбы. Самые страшные животные со страхом повиновались ей: львы и тигры лизали ее щеки, и змеи приползали к ней, когда она звала их, щелкая языком. Она была всемогуща, и слухами о ней была полна Фессалия. Она выводила мертвых из могил и, изменяя законы природы, ускоряла смерть живым. Часто появлялась она на похоронах и при этом, нередко затушивая костер, брала с собой пепел. Случалось также, как говорят, что, давая последний поцелуй какому-нибудь умершему родственнику, она откусывала тело от его лица и шептала при этом ужасном поступке какие-то таинственные заклинания. Похищала веревки и гвозди из распяты на крестах трупов, развязывая первые своими зубами. Она жила на Эмосе, недалеко от фарсальских полей, где стояли лагерем войска Помпея и Цезаря, и приносила жертвы и молила богов о том, чтобы битва произошла именно на этом месте, для того, как выражалась она, чтобы ей было возможно воспользоваться всемирной кровью. В ночь накануне роковой фарсальской битвы Сикст Помпей, сын великого Помпея, боясь за исход этой битвы, отправился из лагеря в сопровождении нескольких своих друзей к маге,

чтобы узнать от нее, благоприятна ли будет судьба к оружию его отца. Эриктона, улыбнувшись на вопрос Сикста, увлекла его в поле, где незадолго до того происходило сражение, и, выбрав между лежавшими там трупами такой, у которого сохранились еще легкие, потащила этот труп в свою пещеру, чтобы, вдохнув в него жизнь, узнать от него об участии, ожидавшей Помпея. Осветив мрачную пещеру магическими огоньками, надев на себя адскую мантию, а на голову змеиную корону, колдунья умыла у трупа раны, наполнила грудь его теплой кровью и, приступая к чарам, начала готовить самое отвратительное зелье, какое только может составить себе воображение. Взяв самые смертоносные яды, она примешала к ним пену бешеной собаки, внутренности гиены и мозг из ее костей, камушки, согреты в орлином гнезде орлицей, и пепел феникса. Затем, когда она начала свои заклинания, в ее голосе слышался собачий лай и волчий вой, ночные ссоры ведьм и шипение змей, жалобный шум волн, разбивающихся о скалы, и стон леса во время урагана.

Таким голосом взывала она к фуриям, к мрачному Стиксу и хаосу, желающему поглотить бесконечные миры, и к Плутону, нетерпеливо ждущему смерти богов, и к паркам, выющим нить человеческой жизни, заклиная и умоляя всех этих богов оживить лежавший перед ней холодный труп, дабы он мог открыть судьбу, какая ожидала Помпея в предстоявшей битве. От молитв она перешла к угрозам, клянясь, если ее молитвы не будут услышаны, вывести из мрака фурий, открыть бесстыдства Гекаты, разбить цепи Плутона и призвать на помощь страшного Демогоргона, живущего в глубокой пропасти, и по одному знаку которого дрожит земля и трепещет сам ад. Эту ужасную клятву услышали адские боги, и вскоре мертвец ожил; он встал, бледный, блуждая вокруг глазами и удивленный своему вторичному появлению на свет. Тогда колдунья, усиливая свое чародейство, стала спрашивать его относительно войны, обещая ему – если он скажет правду – устроить для него такие заколдованные похороны, сжечь его труп на костре из такого таинственного дерева, что впредь ни один маг не побеспокоит его тени. Говорят, что этот несчастный, простонав, предсказал Сиксту Помпею смерть его отца и гибель всего его семейства.

– Ужасна эта история, Неволей.

– Колдунья, которая жила в доме пирата, была, как я тебе сказала, дочерью Эриктоны.

Она отгадывала будущее, глядя нам в лицо и рассматривая наши руки; она умела готовить яды; ее боялись мужчины, а влюбленные женщины заискивали в ней, чтобы приобрести от нее средство, с помощью которого побеждается сердце любимого человека. К нам обеим она питала особенное расположение и заботилась о нас, почти как мать.

Старушка была рабой и называлась Филезией; родом она была из Ламии и куплена Тименом и любима им за качества магии.

Он никогда не предпринимал ни одного дела, не посоветовавшись прежде с ней. Поэтому она пользовалась в доме сирийского пирата большим авторитетом и, со своей стороны, была сильно к нему привязана.

Несколько раз намеревалась она посвятить меня в свою науку, говоря, что эта наука делает меня могущественной и страшной для других. Я слушала ее со вниманием, пока то, что она говорила, было результатом ее наблюдений и знакомства с человеческим сердцем и характером, так как на том и другом основываются знания и наших мудрецов; но я выражала ей свое отвращение к шарлатанству и обману, и старуха, опуская голову, сожалела обо мне, по ее мнению отталкивающей от себя свое счастье.

Однажды, когда Фебе и я только что вышли из купальни, – нам дана была в доме Тимена возможность купаться ежедневно, – моя подруга, желая ободрить меня, начала было рисовать мне счастливую будущность...

– Будущность, – прервала я ее, – может быть счастлива для тебя, если только уста Тимена тебе не солгали; но я, несчастная, которая ничто для его сердца, я предвижу участь, меня ожидающую.

– Участь, которая тебя ожидает, – прервала меня ламийская колдунья, подслушавшая наш разговор, – я не променяю на ту, какая предназначена твоей Фебе. Да, наконец, не называешься ли ты Тикэ? А такое имя, о Тикэ²², тебе идет, как нельзя более.

– Так Тимен меня не любит? – спросила тогда с волнением дочь Леосфена.

– Да, любит по-своему, – отвечала ей таинственным тоном Филезия.

– Буду я вечно его рабой? – спросила я ее в свою очередь, желая знать свою судьбу.

– Ты – голубка воздушного пространства; ты, милетская красавица, рождена свободной, и твоя грация возвратит тебя вновь к свободе.

Таковы пророческие предсказания фессалийской колдуньи.

Фебе объясняла себе предсказания Филезии, как подсказывала ей ее любовь к Тимену; что касается меня, то, ободренная словами колдуньи, я с той минуты доверилась моей судьбе и спокойнее ждала предназначенное мне будущее.

Все, с которыми мне приходилось говорить, уверяли меня, что Филезия никогда не ошибалась в своих предсказаниях; да и немного прошло времени, как начали сбываться ее слова относительно нас.

Вскоре возвратился в Адрамиту Тимен, привезя с собой целую толпу похищенных им в Греции девушек и несколько фригийских юношей, этих самых, которые тут со мной. На другой день по его возвращении шушуканье между собой нашей прислуги заставляло предполагать, что нас ожидает какая-то перемена. И действительно, в тот же день Фебе разлучили со мной. Тимен, показывая вид, что любит ее, сказал ей в моем присутствии, что он не может более жить без нее. Принужденная расстаться со мной, Фебе залилась слезами и умоляла своего пирата иметь ко мне сожаление. Он обещал, что до тех пор, пока я останусь под его кровлей, со мной будут обращаться по-прежнему.

По прошествии трех месяцев со дня нашей разлуки я решилась спросить у фессалийской старухи об участи Фебе.

– То, что я тебе говорила, милая дочь Тимагена, непременно сбудется; возлюбленная Тимена живет в большом городе.

– Женой Тимена?

– Дитяtko, – отвечала мне на это старуха с печальной улыбкой, – едва распустившаяся роза, сорванная утром, украшает и окружает благоуханием твою грудь, ты ее любишь и целуешь; но прежде, нежели наступит вечер, ты ее бросаешь увядшей в сорную яму.

– Что ты хочешь сказать этим? – спросила я ее, боясь за участь Фебе, так как иносказательная речь старухи не предвещала ничего хорошего.

– Тимен ценит еще менее любящих его женщин, и чем скорее он оставляет их, тем лучше бывает для них.

– Что же случилось с Фебе?

– Он ее продал.

– О ужас! Что будет со мной? – вскрикнула я, обливаясь слезами. – Если он поступил так с любимой им девушкой, то какая участь после этого может ожидать меня?

– Твоя участь, дитяtko, – отвечала на это старуха, – участь драгоценного товара.

Я закрыла свое лицо руками от ужаса и горя.

Тут Филезия, засмеявшись добрым смехом, повторила слова, сказанные уже ею мне однажды:

– Ты – голубка воздушных пространств; ты милетская красавица, рождена свободной, и твоя грация возвратит тебя вновь к свободе.

Прошло еще несколько дней; Тимен возвратился; лицо его было мрачно, говорил он как-то странно, несвязно. Он пугал собой всех, так как никто не знал причины его душевного

²² Тикэ (древнегреч.) – счастье.

расстройства. На этот раз он пробыл дома очень недолго. На другой же день, встав до зари, он отдал приказание собираться в путь. Взяв с собой меня, фригийских юношей и нескольких девушек, выбрав из них лишь тех, которые, подобно мне, были из Милета, он посадил всех нас на свою быструю гемиолию и повез нас через Геллеспонт и Пропонтиду в Азию, где уже ждал его Азиний Эпикад, которому Тимен и сдал нас так равнодушно, как будто дело шло о передаче овец. Пересчитав несколько тысяч серебряных монет, полученных им за нас от Эпикада, Тимен, грубо повернувшись от нас, спокойно пошел своей дорогой. Эта бесчестная продажа должна была бы привести меня в отчаяние, но не так было. Тайный голос успокаивал меня, напоминая о предсказании Филезии. Прощаясь со мной и утирая мои слезы, она, также растроганная, но желая в минуту разлуки еще раз ободрить меня, повторила вновь:

– Но будь весела; оставь горе мне. Это начало счастливых для тебя событий; ты голубка воздушных пространств, ты родилась свободной, красавица Милета, и твоя грация возвратит тебя к свободе.

Шепча эти слова, она удалилась от меня, вытирая и со своих глаз слезу, которая, быть может, много уж лет не показывалась на ее ресницах.

Азиний Эпикад по воле богов нанял немедленно твое судно, мой возлюбленный навклер, а все остальное тебе известно.

– И пусть будет, таким образом, Неволея, – сказал тогда Мунаций Фауст, – окончена твоя печальная одиссея; да совершится предсказание адрамитской женщины и да буду я орудием воли судьбы!

Девушка в порыве благодарности пожала руку навклера, который добавил, указывая на голову Минервы, украшавшую собой переднюю часть судна:

– Там, под изображением покровительницы моего судна, я начерчу имя Тикэ, которому улыбается счастье, предсказанное магой.

Глава четвертая

Политика Ливии

Оставим на время Мунация Фауста и Неволею Тикэ, с которыми мы вскоре встретимся, и, не следуя более за купеческим судном, плывущим в Италию и вошедшим уже в Сицилийское море, я поведу читателя в Рим.

Взойдем на Палатинский холм и вступим в дом Августа, усыновленного Юлием Цезарем, провозглашенного императором и после битвы при Акциуме сделавшегося неограниченным властелином Рима и Римской империи. Так было в действительности, хотя Август никогда не желал, чтобы кто-нибудь, кроме его рабов, называл его *dominus*, государем; запретил и своим сыновьям, и племянникам величать себя взаимно этим титулом и лишь по настоянию своих друзей согласился принять высшую власть и то только на десять лет, по прошествии которых комедия повторилась: право единодержавной власти было предложено ему на другие десять лет и затем снова, пока он был жив.

Сперва Август жил близ римского форума, повыше так называемых в то время лестниц ювелиров, в доме, принадлежавшем оратору Кальвию; но потом он перешел на Палатинский холм, в дом, столь же почти простой и скромный, Квинта Гортензия, соперника по красноречию знаменитого Цицерона. Этот дом не был замечателен ни по своей обширности, ни по своей архитектуре, и Светоний вспоминает о том, как были тесны его портики и как просты колонны из камня, взятого с горы Альбано; действительно, он казался простым и бедным по сравнению с роскошным дворцом Скаурия или с домами многих других патрициев. В его комнатах не видно было мраморов, на полах не было рисунков и дорогой мозаики, чем отличались в то время жилища всех богатых людей; убранство комнат было так же простое, на стенах не было картин, по углам и нишам не красовались статуи; тот же писатель вспоминает лишь об одном предмете роскоши, тут находившемся и заключавшемся в мурринской чаше, принадлежавшей Птоломею. Будучи прост во всем, Август, по сказанию историков и самого Плутарха, был воздержан и в пище, довольствуясь обыкновенным хлебом, мелкой рыбой, свежим сыром и тем сортом фиг, которые спеют дважды в год.

Какая противоположность по сравнению с роскошью и изысканностью, какой любил окружать себя Юлий Цезарь, от которого перешли к нему власть и богатства!

Не склонный к пышности, Август, по словам Плутарха, не любил также богатой и изящной одежды и не занимался своим туалетом. Когда ему чесали и завивали волосы, он вместо того, чтобы смотреться в зеркало, читал или писал; одевался в платье, сшитое его женой и дочерью, которая умела ткать и была приучена ко всем домашним работам, так что о ней можно было сказать, как о древней римской матроне: *domum mensit, lanam fecit*, то есть сидит дома и прядет шерсть.

Не занимаясь своим собственным туалетом, он думал, однако же, о туалете других, желая сделать его менее пышным; говорят, он мечтал даже о том, чтобы ввести вновь в употребление простое древнее одеяние. Однажды, присутствуя в народном собрании и заметив множество черных мантий, он воскликнул с негодованием: «Это ли римляне, властители мира, – люди в длинных тогах?»

Но я сомневаюсь, чтобы любовь к простоте была у Августа искренней; она как-то не ладится со следующими словами, которые сказаны были им одному миланцу, угостившему его слишком скромным пиром: «Я не думал, что мы находимся друг к другу в близких отношениях»; не ладится она также с его страстью к азартным играм, к драгоценной мебели и коринфским бронзовым вазам; страсть в Августе к этим вазам была столь общеизвестна, что

она побудила какого-то остряка подписать под статуей этого императора: «Отец мой серебряник, а я бронзовщик».

Пройдем без внимания мимо толпы придворных, с раннего утра собирающихся под перистилем дома и тревожно ждущих появления божественного Августа, *divus Augustus*, – таким титулом позволял величать себя этот скромный человек, – чтобы представиться ему; между тем как он, мало заботясь о них, занимается в своей Сиракузе, или музее, – так звал Август комнату в верхнем этаже своего дома, куда уходил всякий раз, когда не желал, чтобы посетители отрывали его от работы.

Последуем лучше вот за той дамой, красивой, молодой и величественной, которой придверник отвесил глубокий поклон и перед которой толпа, наполняющая собой комплувиум²³, почтительно расступилась, хотя и не удостоилась ни одного ее взгляда. Не обращая никакого внимания на прислужницу, возвестившую громким голосом ее имя, и на пение Амианта, анагноста²⁴ или чтеца Ливии, аккомпанирующего себе на лире, она вступает уж на порог ээдры, то есть залы, предназначенной для разговоров, где Ливия, жена Августа, наслаждавшаяся перед тем красотами песен Гомера, которыми, превосходно передавая их на греческом же языке, упомянутый невольник умел развлекать свою госпожу, встретила свою гостью очень благосклонной улыбкой.

Эта гостья Ургулания, молодая римская матрона, как мы видели, изящная красавица и с гордым выражением в лице; она в большом почете у Ливии, ничего не предпринимающей без ее совета,веряющей ей все свои намерения и все тайны и принимающей ее и в то время, когда двери ее комнат заперты для прочих. Ургулания сумела войти в милость и овладеть доверием Ливии, отгадать ее самые тайные мысли; умела льстить ее гордости и помогать ей в ее темном, бесчестном предприятии, породившем уже злодейские дела и имеющем повлечь за собой новые преступления, которые вскоре разрешатся перед нашими глазами. Вот почему гордая со всеми и презиравшая законы, как рисует ее нам Тацит, Ургулания являлась почтительной и покорной перед Ливией; ей только выражала она свою преданность и любовь, оставаясь бессердечной или полной ненависти к остальным людям.

– Ave²⁵, божественная Августа! – воскликнула она, входя в ээдру и преклоняясь перед Ливией для выражения ей своего обожания.

– Salve²⁶, Ургулания, – отвечала любезно Ливия, покоившаяся на ложе, которое, судя по описанию Ювенала, имело некоторое сходство с нынешними длинными кушетками.

– Ты забыла меня сегодня утром, – сказала Ливия, протянув гостье свою руку и, поворачивая голову к Амианту, стоявшему уже на ногах в ожидании приказанья выйти из комнаты, она проговорила:

– Перестань, Амиант; прекрати свое пение и оставь теперь свою лиру; в другой раз ты окончишь мне эти божественные слова, которыми богиня-мать утешает своего сына Ахилла, скорбящего о смерти своего друга Патрокла.

Анагност, оставив музыкальный инструмент и отвесив глубокий поклон своей госпоже, вышел из комнаты.

Тогда Ургулания, с манерами избалованной девочки, присев у ног Ливии и целуя ее правую руку, проговорила в извинение:

²³ Комплувиум – передняя часть дома, открытая по сторонам и защищенная навесом от дождя.

²⁴ Анагност – невольник, обязанностью которого было читать громким голосом своему господину в таблинуме, то есть в комнате для занятий, или в триклиниуме, то есть в обеденном зале. Амиант – имя такого чтеца при Ливии Августе, певшего также, как свидетельствует одна из надписей, под аккомпанемент лиры песни Гомера.

²⁵ Ave (*лат.*) – Ave или Aue – фраза, которую использовали римляне в качестве приветствия. В переводе с латыни означает «здравствуй» (или «прощай»). Немецкий аналог «Аве» – «Хайль».

²⁶ Salve – это одновременно приветствие и прощание, означает «здравствуй, привет тебе» и «будь здоров, прощай».

– Прости, о божественная! Меня задержал надоедливый Луций Пизон, который из-за ничтожной суммы денег, должной ему мной, осаждает меня ежеминутно своими требованиями; и, когда я, желая освободиться от него, сказала, что спешу во дворец по твоему повелению, он дал мне понять, что не станет более ждать и потащит меня к претору.

– Не беспокойся, дитя мое, устроим и это дело, – отвечала жена Августа.

Тут прежде, нежели заставить читателя присутствовать при последующей сцене, я нахожу необходимым сказать ему несколько слов о самой Ливии и познакомить его с некоторыми важными частностями ее жизни, так как эта женщина, как я намекнул в предисловии, играет главную роль в моем рассказе.

Будучи дочерью Ливия Друза Клавдиана, она была очень знатного происхождения, так как Клавдии считали свой род более древним, чем Рим; при рождении ей было дано имя Ливии Друзиллы. Отличаясь необыкновенной красотой форм и лица, в чем, как говорят, она не имела себе соперниц в Риме, наделенная от природы таким умом, наблюдательностью и веселым характером и образованная чтением латинских и греческих писателей, она вместе с тем была горда и честолюбива. Сперва она вышла замуж за Тиверия Нерона, человека также очень образованного и отличавшегося храбростью и прочими достоинствами, обратившими на него внимание Юлия Цезаря, умевшего отличать выдающихся людей. Юлий Цезарь предоставил ему должность высшего жреца, а затем поручил ему управление колониями в Арелате (в нынешнем Арле), в Нарбонне и в прочих городах Галлии; такое назначение соответствовало, между прочим, заслугам Тиверия Нерона, способствовавшего, в качестве начальника римского флота, победам Цезаря в александрийскую войну.

Позднее, когда Юлий Цезарь был убит в сенате Брутом и Кассием и когда Сикст Помпей заключил мир с триумвирами, Ливия с мужем вернулась в Рим. От него она имела двух сыновей: Тиверия Клавдия Нерона, с которым мы вскоре познакомимся и впоследствии увидим императором, и Друза, по прозванию Германик. Тут Август влюбился в Ливию и, бросив жену свою, Скрибонию, дочь Скрибония Либона, бывшую до того женой двух консулов, отнял Ливию у Тиверия Нерона, не обращая внимания на то, что в это время она была беременна третьим сыном, умершим вскоре после рождения. Но так как законы запрещали женщине вступать вторично в брак ранее десяти месяцев со дня смерти мужа или со дня развода, то, не желая открыто нарушать эти законы и семейный порядок, Август, призвав на совет жрецов и спросив, при их помощи, оракула, давшего ему, разумеется, благоприятный ответ, успокоил этим угрызения своей совести и бросил пыль в глаза тем, которые и без того готовы были потворствовать его желаниям. Затем, заставив самого Тиверия Нерона представить ему Ливию, но не иначе как в качестве ее отца, он торжественно отпраздновал свой брак с ней, причем на блестящем брачном пире первый муж Ливии занимал почетное место.

Через три месяца после этого брака Ливия родила мальчика, названного Клавдием Друзом Нероном. Не желая удерживать его при себе, что служило бы к подкреплению слухов в обществе, указывавших на него как на настоящего отца новорожденного, Август приказал записать в дневник своей жизни, что Ливия родила в его доме сына, которого он отослал к отцу его, Тиверию Нерону.

Это не помешало, однако же, общественному мнению продолжать считать новорожденного сыном самого Августа, и между сочиненными на его счет шутками и остротами говорилось и следующая: таким счастливым, как Август, всякая вещь до такой степени удастся, что у них и дети рождаются лишь на четвертый месяц после женитьбы.

Некоторые, основываясь на утверждении Светония, что Август всегда питал к Ливии самую нежную любовь и глубокое уважение, и доверяя Тациту, повествующему о том, что в доме Августа чтились свято древние обычаи, хотят во что бы то ни стало видеть в Ливии женщину, одаренную всеми хорошими качествами древней римской матроны, почтительную и снисходительную к мужу жену и гордую мать.

Действительно, в современных ей мемуарах говорится о том, что Ливия, хотя и пылавшая ненавистью и ревностью к Теренции, жене Мецената, возбудившей к себе сильную страсть в Августе, скрывала, однако же, эти чувства и даже была внимательна и любезна в своем обращении с Теренцией, уважая в ней, своей противнице, сердечное влечение Августа.

И Август, со своей стороны, платил Ливии такой же любовью и уважением, выражая открыто свое удовольствие тем, что в честь нее устраивал города, давая им названия Ливиада, или посвящал храмы и алтари, или воспевал в песнях божественную Ливию; для нее он приказал снести с основания дом, принадлежавший Поллиону на *via Sacra*, и воздвигнуть на его месте великолепный портик, посвятив его ей, величая ее августейшей и матерью отечества.

Но как, между прочим, эта добродетельная и достойная жена поступила с Юлией, дочерью Августа от первой жены его, Скрибонии, и с детьми этой самой Юлии, мы узнаем это из дальнейшего рассказа.

В минуту той сцены, которую я перед этим начал описывать читателю, Ливия Друзилла, называемая также Юлией Августой вследствие того, что вступила в родство с Юлием, но еще проще называемая Ливией, была уже старухой шестидесяти пяти лет, а Август считал себе семьдесят.

Но по виду эта величественная матрона была моложава; щеки ее сохраняли еще свежесть и краску, в ее черных волосах не было заметно седины, а звонкий голос свидетельствовал о сильном и решительном характере; словом, она почти ничего не потеряла из тех качеств, которыми издавна очаровывала своего мужа, умея всегда достигать своих целей и интересов, уступая мужу лишь в вещах, не имевших для нее особенного значения.

– Ну, что же? – спросила Ливия Друзилла свою фаворитку после того, как успокоила ее насчет Луция Пизона. – Узнала ли ты что-нибудь новое об известном тебе предмете?

– Да, ваше величество, и очень серьезные новости.

– Какие же?

– Находятся такие, которые утверждают, что Агриппа Постум скрылся из места своей ссылки.

При этих словах Ливия Друзилла быстро приподнялась на кушетке и, побагровев в лице, воскликнула:

– Ургулания! И ты еще медлила сообщить мне это?

– И кроме этого прибавляют...

– Что еще?

– Что есть такие, которые видели его в Риме.

На этот раз Ливия вскочила на ноги и крикнула:

– Анниолена!²⁷

В дверях появилась невольница, та самая, которая возвещала имена посетителей.

– Пусть явится немедленно Процилл! – приказала Ливия и затем стала ходить большими шагами по комнате с искаженным лицом и, очевидно, страшно взволнованная.

Ургулания глядела на нее, полная смущения и испуга, не осмеливаясь открыть рта и моргнуть ресницами. Вдруг жена Августа с разгоревшимися глазами, готовыми, казалось, выйти из своих орбит, остановилась перед ней и проговорила:

– И ты назад тому несколько минут беспокоилась лишь о своем долге Луцию Пизону и явилась ко мне напоминать о нем, как будто не имела сказать ничего более важного? Но разве ты забыла, что так как Марцелл, племянник и зять Августа и долженствовавший быть его наследником, устранен уже, что Кай и Луций умерли, а Юлия удалена на остров Пандатария,

²⁷ Анниолена – этим именем, действительно, называлась одна из невольниц Ливии, как это свидетельствует список лиц, отпущенных Ливией на свободу, изданный кардиналом Полиньяком. В этом списке находится и имя вышеупомянутого Амианта.

навсегда потеряв расположение к себе Августа, то остается лишь Агриппа, приемыш Августа, причиняющий мне страх как лицо, могущее оспаривать империю у моего Тиверия?

– Успокойтесь, божественная, успокойтесь! Эти слухи невероятны.

– Пусть будут они невероятны, Ургулания; но они отнимают у меня, как у матери, с давних пор приготавливавшей будущность своему сыну, весь мир и покой, заставляя меня страшиться, что здание, устраиваемое столько лет моими собственными руками, может разом обрушиться. Что же ты сделала, чтобы узнать истину?

– Я доверилась Сальвидиену Руфу, который тебя боготворит и который пользуется расположением Августа, привязавшего его к себе столькими благодеяниями; я поручила ему узнать, действительно ли Агриппа осмелился оставить Сорренто и явиться в Рим.

– А я не доверяю этому человеку. Сальвидиен притворяется перед Августом и боится жены его; ему нравятся волнения партий и революции всякого рода, и он таков, что станет скорее содействовать злодейским намерениям этого грубого и жестокого юноши, чем желать его наказания.

Подумав некоторое время и как будто решившись на что-то, Ургулания отвечала:

– Когда так, о августейшая, то я доставлю тебе верные сведения, хотя бы мне пришлось самой обежать все кварталы Рима до самой Субурры. Да, наконец, к чему бы послужило Агриппе Постуму его появление в Риме? Кто мог бы укрыть его от твоих зорких глаз? Кто избавил бы его от строгости законов и твоей мести?

В эту минуту вошла Анниолена, объявив о приходе Процилла.

Это был очень красивый юноша, принадлежавший к тому классу невольников, которые назывались *vernae*, как родившиеся в доме своего господина. Проциллу не было еще двадцати лет; вместе с красотой он обладал ловкостью и большим умом. Он был любим Августом и пользовался также милостью Ливии, которая в данную минуту могла положиться на него, так как она не раз уже давала ему серьезные поручения, свидетельствовавшие о ее доверии к этому невольнику.

– Процилл, – сказала она ему, – вот тебе горсть серебряных монет, бери их, и ты свободен на сегодняшний день идти в город позабавиться, но свою свободу ты должен употребить и на важное дело.

– Приказывай, моя госпожа, своему рабу, – отвечал Процилл, низко поклонившись, и затем, подняв быстро голову и устремив свои взоры в лицо Ливии Друзиллы, старался отгадать ее мысли.

– Помнишь ли ты Постума Агриппу, сына Юлии и Марка Випсания Агриппы?

– Сосланного в Сорренто? Помню.

– Узнал бы ты его, если бы увидал теперь?

– Узнал бы среди тысячи.

– Ходит слух, что он в Риме.

– Если он здесь, то я узнаю об этом.

– Ты меня понял, Процилл; ты меня понял, – повторила Ливия, сделав выразительный жест, показывавший, что не следовало откладывать ни минуты для выполнения ее приказания.

Процилл действительно понял Ливию и, не ожидая дальнейших слов, быстро ушел из комнаты, куда в ту же минуту входило новое лицо с видом хозяина дома.

Это был человек полного и крепкого телосложения, роста выше обыкновенного, с широкими плечами и с широкой грудью, но пропорционален во всей своей фигуре, от головы до ног. Цвет его кожи был белый, позади довольно длинные волосы закрывали всю шею, что, кажется, было обычаем в этом семействе. Его красивое лицо было угреватое, а очень большие глаза, как утверждали, могли видеть и в потемках, хотя и на короткое время, когда он открывал их ночью, пробуждаясь от сна. Говорили также, что левая рука была у него ловчее и сильнее

правой, так что ее пальцами он мог сдавливать крепкое яблоко, а щелчком ранить голову не только детскую, но и молодого человека.

Это был Тиверий Клавдий Нерон.

Теперь мы знакомы с его внешностью; но необходимо заглянуть и в прошлую жизнь этого любимого сына Ливии, доставить которому наследство Цезарей было главной целью политики этой женщины. К нашему счастью, нам не нужно для этого прибегать к ужасно-мрачной кисти Тацита, заклеившего в глазах потомства старость этого человека, подлость и бесчеловечие которого сделали из его имени синоним жестокости и безумия; и зло смеялась судьба над римским сенатом, когда он в день рождения Тиверия декретировал сооружение статуи богини счастья.

Тиверий родился во время македонской войны, когда его родители, принужденные бежать от неприятеля, укрылись в доме Марка Антония, бывшего триумвиром. На девятом году он произнес на ораторской трибуне надгробное похвальное слово своему родному отцу, а будучи юношей, сопровождал колесницу Августа во время его триумфа по поводу битвы при Акциуме, бывшей в 723 году от основания Рима и в которой были побеждены Антоний и Клеопатра; Тиверий ехал верхом по левую сторону колесницы, а Марцелл, сын Октавии, сестры победителя, по правую. Сперва он был женат на Агриппине, дочери Марка Агриппы, которую сильно любил; но, к своему горю, он должен был, по желанию Августа, оставить ее, чтобы соединиться с Юлией, дочерью Августа от первой его жены Скрибонии, имевшей до Августа двух мужей, Марка Марселла и Марка Випсания Агриппу. С Юлией Тиверий жил в первое время согласно, но после смерти рожденного ею от него дитяти он стал обращаться с ней дурно; тем не менее он сделался мил Августу после того, как обвинил Варрона Мурена в оскорблении императора и постарался о том, чтобы он был осужден. В первый раз он взялся за оружие в качестве военного трибуна в походе против кантабриев, затем в качестве главнокомандующего действовал на востоке, где возвратил царю Тиграну Армению и отобрал от парсов знамена, захваченные ими у Марка Красса. Управлял в течение одного года частью Галлии, участвовал в войнах против Реции, Винделиции, Паннонии и Германии и смирил тамошних жителей, за что удостоился овации²⁸. Рано достигнул должностей квестора, претора и консула и пять лет был трибуном.

Всех удивило, когда Тиверий сам прервал свой быстрый путь к славе, выразив неожиданно желание возвратиться к спокойной жизни; даже просьбы Августа не могли удержать его в Риме, откуда он переселился на остров Родос, где управлял сперва от имени своего тестя, то есть императора, а потом оставался там без всякой должности и забытый. Он замечал, что его военному счастью завидовали сыновья Марка Випсания Агриппы и Юлии; со своей стороны, он завидовал их судьбе, будучи уверен в сильном расположении к ним Августа. Как бы то ни было, он добровольно удалился из Рима.

Кай, один из упомянутых сыновей Юлии, действительно, не скрывал своего отвращения к нему и не только был рад видеть его в изгнании, но, как носились слухи, вызывал желающих отправиться на остров Родос и привезти ему оттуда голову Тиверия.

Но мать бодрствовала. Не прошло много времени, как Август, с согласия самого Кая, вызвал Тиверия в Рим, но с условием, чтобы он не вмешивался в государственные дела. И на самом деле он оставался им чужд до тех пор, пока, по мнению Ливии, не наступило для него время возвратиться себе прежнее положение.

²⁸ Овация (*um. Ovazione*) – так назывался у римлян триумф низшей степени, при котором приносилась в жертву овца (*ovis*); при этой овации то лицо, которому она устраивалась, отправлялся, пешком или верхом на лошади, в Капитолий, имея на себе белую тогу с пурпуровыми краями, на голове миртовую корону, а в руке оливковую ветвь. Такого триумфа удостоивался одержавший победу над неравным врагом, а именно: над беглецами, невольниками, пиратами. В триумфальной процессии несли военные знамена, оружие, деньги и прочую добычу.

В течение двух лет сыновья Агриппы, сделанные Августом цезарями, исчезли: Кай умер в Лимирии, а брат его, Луций, в Марсели. Тацит не устает обвинять в их смерти Ливию, которой приписывали и смерть Марцелла, воспетого Вергилием в шестой книге «Энеиды». После этого привязанность Августа сосредоточилась на последнем сыне Марка Випсания и Юлии, Агриппе Постуме, и на Тиверии Клавдии Нероне; и обоих – последнего по просьбе народа – он усыновил почти одновременно.

Это было ближайшей целью Ливии.

Тиверий вновь сделался трибуном на пять лет, отправился потом умиротворять Германию, а затем вел иллирийскую войну, которая после карфагенской считалась самой значительной и ужасной из внешних войн и которая окончилась присоединением Иллирии к Римской империи.

Но осталась ли Ливия довольна всем этим?

Нет, она желала устранить для Тиверия и в будущем всякое препятствие. В то время, когда Тиверий находился еще на острове Родос, жена его Юлия, оставленная им в Риме, чувствуя к мужу лишь отвращение и злобу и подстрекаемая своим прежним любовником, Семпронием Гракхом, отдалась самым постыдным страстям, самому открытому прелюбодеянию и самым разнузданным ночным оргиям.

Я пишу не от себя: серьезные и полные доверия писатели сообщают, что она принимала любовников целыми стадами, *admissos gregatim adultéras*, и, как безумная, пробегая по ночам улицы и переулки, оскверняла их своей проституцией, совершая прелюбодеяния даже на публичных трибунах, в которых, по повелению ее августейшего отца, провозглашались наказания прелюбодейцам, и, как бы гордясь своими бесстыдными и развратными поступками, каждый день приказывала класть на голову статуи Марсия²⁹, стоявшей на римском форуме, столько венков, сколько таких поступков удавалось ей совершить в предшествовавшую ночь.

В своей связи с Юлом Антонием Африканом, сыном триумвира Марка Антония и Фульвии³⁰, Юлия дошла, наконец, до такого бесстыдства и разврата, что эта связь была причиной гибели обоих.

После смерти Марка Антония Август показал столько умеренности и милосердия к сыну своего врага, что не только даровал ему жизнь, но и осыпал благодеяниями. Он сделал его постепенно жрецом, претором, консулом и правителем некоторых провинций и выдал за него дочь Октавии, сестры своей. Но Юл Антоний Африкан, забыв все это и увлекшись прелестями красавицы Юлии, отдался совершенно своей страсти к этой женщине, необузданный разврат которой заставил его вести самую скандальную жизнь.

Ливия зорко следила за Юлией; и не столько бесстыдный образ жизни Юлии, сколько те ядовитые письма, какие писала она о своем отсутствующем муже к отцу своему Августу, сильно возбудили против нее Ливию, передавшую Августу все о поведении его дочери и, таким образом, явившуюся перед ним ревнивой охранительницей чести его дома; после этого Август был вынужден, от имени ее мужа Тиверия, объявить Юлию преступницей.

²⁹ У римских адвокатов было в обычае класть на голову статуи Марсия (знаменитого сатира, положившего, по словам легенды, на музыку гимны, посвященные богам) столько венков, сколько выигрывали они процессов. Необузданная Юлия, как пишет Марк Антоний Мурет в своем сочинении о Сенеке, подражала им в данном случае.

³⁰ Фульвия, бывшая сперва женой Клавдия, а потом уж Марка Антония, побуждала последнего к грабежу и преступлениям и была злым гением для лиц, преследуемых триумвиратом. Она ненавидела Цицерона за оппозицию его к обоим мужьям ее. Когда была принесена ей голова этого великого оратора, отрубленная у него, по желанию Марка Антония, Каем Попилием Лепатом, которого некогда Цицерон защитил от обвинения в отцеубийстве, она сидела за обедом вместе со своим мужем; и в то время как последний при виде головы своего противника зверски смеялся, назначив убийце премию в 250 тысяч динариев, еще более жестокая Фульвия, оплевывая мертвую голову и надругаясь над ней, проколола своей головной иглой тот язык, который с таким красноречием громил преступления ее и ее обоих мужей. (См. Плутарха: «Жизнь Цицерона», Аппиана, Ювенала и др.) Тацит и Гораций называют Антония Африкана Юлом, а не Юлием.

Некоторые утверждают, что Антоний Африкан, извещенный о том, что Августу стала известной его неблагодарность к нему, то есть поведение, бесчестившее семейство императора, сам лишил себя жизни, предупредив этим заслуженную им смертную казнь; другие же пишут, что ему была отрублена голова на основании судебного решения, осуждавшего его как прелюбодея и оскорбителя императора. Несомненно одно, что он заплатил своей жизнью за постыдную связь, а Юлия, прежде столько любимая Августом, так что даже ходили слухи о незаконной и преступной любви его к своей дочери, была отправлена в вечную ссылку на остров Пандатария, с запрещением употребления вина и лишением всяких удобств жизни.

Легко представить себе, как приятно было узнать об этом оскорбленному мужу, находившемуся еще в то время на острове Родос, но он, притворившись опечаленным судьбой жены своей, старался в письме к Августу умалить гнев его к дочери и просил его не лишать ее прежнего содержания.

Но гораздо хуже поступила Ливия с Агриппой Постумом, который причинял ей много досады и беспокойства, так как он был единственным лицом, могшим быть помехой Тиверия в достижении императорской власти. Так как в его действиях нельзя было отыскать ничего преступного, то ему вменили в преступление его простой, грубый образ жизни и жестокость души, хотя о последней не напоминает нам ни один исторический факт. Как бы то ни было, но он должен был отправиться в ссылку, в Сорренто, и потерять расположение к себе своего деда.

Оставалась еще дочь Марка Випсания Агриппы, малолетняя Агриппина; но так как в ту минуту на нее не обращалось еще внимания, то и мы подождем, пока услышим о ней из уст самой Ливии. Читатель же знает уже столько, чтобы понять значение сцены, происходившей перед ним между Ливией Друзиллой и ее фавориткой Ургуланией, а равно и сцены между матерью и сыном, при которой ему придется теперь присутствовать.

Тиверий, отличавшийся уже в это время суровым видом, молчаливостью и угрюмостью, как рисуют его нам историки, при входе в эзедру, к матери, казался более обыкновенного угрюмым и взволнованным. Хотя ему было уже под пятьдесят лет и он оставался по-прежнему жестоким и дерзким в обращении и выражениях, — что заставляло, между прочим, Августа не раз просить за него извинения у сената и у народа, — но эти скорее природные недостатки, чем пороки его сердца, не давали еще повода предполагать в нем ту ужасную жестокость, какую показал он позднее.

— Мать, — начал он без всякого вступления и как будто не замечая присутствия Ургулании, — я слышал такие вещи, которые, если только они справедливы, заставляют думать, что не ты, как я до сих пор предполагал, а Фабий Максим владеет ключом от сердца Августа и что мне приходится готовиться к новой и вечной ссылке.

Ливия, ожидавшая услышать от сына о бегстве Агриппы Постума из Сорренто, отвечала:

— Ты хочешь сказать об Агриппе?

— Нет, не о нем, но о другом, который еще сильнее обливает мое сердце кровью и является предвестником гораздо большей опасности.

— Говори.

Тиверий, бросив подозрительный взгляд вокруг себя и заметив фаворитку Ливии, сказал:

— А я тебя и не увидел, Ургулания.

Любимица Ливии встала при этих словах.

— Быть может, я тут лишняя? — спросила она.

— Ей известны мои желания и планы, — заметила Ливия.

— В таком случае оставайся, — прибавил Тиверий и продолжал, обращаясь к матери: — Знаешь ли ты, что чувствует теперь Август к бесстыдной своей дочери Юлии?

— В этом отношении он не изменился.

— А зачем он нежничает с ней? Не заменил ли он ей строгую ссылку на Пандатарию ссылкой в Реджию? Об этом говорит по крайней мере весь Рим, и это приписывают Фабию Мак-

симу, сумевшему успокоить его гнев, и письмам Юлии, которые каким-то образом дошли к ее отцу. Тебе неизвестно, как возрождается прежняя любовь?

Этими словами, сопровождая их легкой, но адской улыбкой, Тиверий повторял клевету, которая была распространена об Августе по поводу его сильной нежности и привязанности к своей дочери, и сумел ею попасть в цель.

Действительно, при этих словах глаза Ливии загорелись ненавистью, но, закусив губы, она сдержала себя и спокойно отвечала:

– Да, ее переведут в Реджию.

– И ты это позволишь?

– Я сама об этом просила.

В эту минуту Тиверий бросил на свою мать зверский взгляд, но Ливия, как будто не замечая этого взгляда, продолжала:

– Когда я еще носила тебя под сердцем, я спрашивала у авгура Скрибония о судьбе ребенка, которого должна была родить. Он взял яйцо, разбил его скорлупу, и когда из него вышел цыпленок с великолепным гребешком, то Скрибоний уверил меня, что ребенка моего ждет блестящая судьба и что ему суждено царствовать. А скажи мне, что случилось в Филиппин, во время твоего первого военного похода, с алтарями, воздвигли победные легионы?

– Казалось, будто вдруг они оказались объаты пламенем, – отвечал Тиверий.

– А гертонский оракул в Падуе; что приказал он тебе сделать, когда ты спрашивал у него совета?

– Он сказал мне, что я получу ответ на свои вопросы, когда брошу в апонский фонтан золотые игральные кости.

– И какое число показали тебе эти золотые кости?

– Всякий видит еще их на дне фонтана, и они показывают самое большое число.

– А на острове Родос, в то самое время, когда ты был в полной немилости у Августа и всеми оставлен, а я здесь, в Риме, нашла уже человека, готового убить того, кто предлагал Каю твою голову, что показал тебе тогда авгур Тразил?

– Юпитера птицу на моем доме.

– Тиверий Клавдий Нерон! Знай же, что мать твоя не будет помехой твоему счастью. Остров Пандатария лежит в улыбающемся заливе Тиррена; Байя, Путеолы, Мизено от него недалеко; возлюбленные Юлии, Семпроний, Гракх, Клавдий Креспин и Овидий, который также ее не забыл, уже не раз, вопреки строгому наказу Августа, запретившему кому бы то ни было видаться с ней без его личного позволения и то с подробным досмотром лица, отправляющегося с его позволения на остров, подкупали ее стражу; и в один прекрасный день ты мог бы услышать, что та, которая была женой Тиверия Клавдия Нерона и которая своими грязными любовными похождениями опозорила его имя, бежала с Пандатарии и, еще к большему нашему стыду, укрылась под защиту легионов, помнящих еще Марка Випсания Агриппу, или даже бросились в объятия врагов Рима.

– Как же ты поступила?

– Я разрушила все интриги: я заступилась за нее перед Августом, прося быть менее жестоким к преступнице и взять ее с острова на континент. Когда же Август согласился на это, то я выбрала Реджию, у пролива Сикульского (Сицилийского) моря; и там, забытая и полная отчаяния, она умрет... когда ты простишь ей ее преступления.

Ливия умолчала Тиверию о другом слухе, то есть о бегстве Агриппы из Сорренто. Зная его характер, она не желала приводить его в отчаяние; с другой стороны, она была уверена в том, что откроет и тут интриги и не допустит, чтобы Агриппе и его приятелям удались их дерзкие намерения.

– Теперь, Тиверий, поговорим о тебе, – сказала Ливия, не прерывая своей речи. – Тебе известно, что Марободуо, один из самых сильных врагов Рима, находится в Богемии с семью-

десятью тысячами пехоты и четырьмя тысячами кавалерии и что против него направлены все наши войска, какие только мы имеем в Германии; но, быть может, ты еще не знаешь только что полученных новостей, а именно того, что жители Паннонии и Далмации, по уговору Марободу, также взяли за оружие, предводительствуемые опытными и храбрыми Батеном и Пинетом; что римские граждане, жившие в этих землях, убиты варварским образом; что бунтовщики завладели уже Македонией и, неся с собой повсюду смерть и пожары, готовы вторгнуться в самую Италию. Август упал духом; спешу в сенат, там ты увидишь работу рук моих. Не теряя же времени, иди.

Тиверий понял смысл этих слов; он просиял в лице, прижал к груди свою мать и, не теряя времени на излишние объяснения, быстро вышел из комнаты. Ливия обратилась к своей любимице:

– Ургулания, ты слышала, как одна Юлия уже пристроена мной, теперь мои мысли заняты другой Юлией, женой Луция Эмилия Павла. Как тебе известно, она также идет по пути разврата, следуя примеру матери; но кроме этого ее дом есть гнездо заговорщиков.

Тут Ливия остановилась, как бы что-то припоминая, и любимица ее подсказала ей:

– А Агриппина, жена Германика?

– Агриппины Германика я не забываю: ее я оставляю под конец. Теперь она в Галлии со своим мужем, который из уважения к Августу согласился управлять галльскими провинциями, куда я постаралась удалить его, потому что римский народ, боготворивший моего покойного Друза, смотрит на сына его, Германика, как на наследника Августа, воображая, что этот добрый юноша возвратит ему прежнюю свободу. Но я, верная повелениям богов, никогда и не думала предпочитать старшему брату, моему Тиверию, младшего Друза, а тем менее, по его смерти, его сына. Кроме того, я ненавижу Агриппину, как весь род, происходящий от дочери Либона, и охотно загрызла бы ее, но по своему поведению она совершенно противоположна своей матери и сестре, целомудренна и обожает своего мужа, хотя и горда; по моему мнению, еще не настало время для нанесения ей удара; но помни, Ургулания, что я ее не забываю. В настоящую минуту главные усилия надобно сосредоточить на презренном Агриппе Постуме. Если только он в Риме, то нет сомнения, что он скрыт в доме Юлии, и я уверена в том, что жена Луция Эмилия Павла отвечает мне такой же ненавистью, какую я питаю к ней. Теперь я думаю об Агриппе, а затем наступит ее очередь. Клянусь, что я не успокоюсь до тех пор, и да услышат мою клятву боги, пока судьба матери не постигнет и дочери.

– Силла записывал на своих дощечках имена тех лиц, которых осуждал к изгнанию, а я, о божественная Августа, пишу на своих имена твоих изгнанников.

– Прочти же их.

Ургулания начала читать:

– Юлия, Агриппа Постум, Юлия и Агриппина, ее дети; Семпроний Гракх, Овидий Назон, Квинт Криспин, Аппий Клавдий – словом, все бесстыдные любовники дочери Скрибонии³¹...

– Довольно, Ургулания, не иди дальше: для всех прочих амнистия.

После этого Ургулания, простившись с Ливией, отправилась на охоту за беглецом из Сорренто.

Между тем сенатом были опубликованы письма из Паннонии, Далмации и Македонии, о которых упоминала Ливия в разговоре с сыном. Август действительно не скрывал своего страха, а так как он считался, вследствие выигранных им побед, очень храбрым воином, то его страх, но в усиленной степени перешел и на сенаторов, особенно когда Август заявил им, что, если в течение десяти дней не будут приняты серьезные меры защиты, неприятель может появиться у ворот самого Рима.

Отечество, таким образом, оказалось в опасности!

³¹ Скрибония – первая жена Августа, от которой он имел дочь Юлию.

Тогда-то, по предложению сенаторов, друзей Ливии, Тиверий Клавдий Нерон был провозглашен главнокомандующим.

Глава пятая

Утро римской матроны

Из предшествовавшей главы читатель мог понять, что между действующими лицами моей истории находятся две Юлии, мать и дочь, из которых первая – дочь Августа и Скрибонии, выданная замуж, после двух мужей, за Тиверия Клавдия Нерона, и вторая – дочь Марка Випсания Агриппы и жена Луция Эмилия Павла.

Я напоминаю об этом, потому что при одинаковых именах читатель легко может запутаться в ветвях генеалогического дерева, особенно когда книга берется им в руки не для того, чтобы ломать себе голову и утруждать свою память, а единственно для развлечения и, если хотите, немного для того, чтобы извлечь из нее кое-что и полезное, но без большого усилия.

Пусть же знает читатель, что в этой главе я поведу его в римский дом младшей Юлии, жены Луция Эмилия Павла.

В то время как мы находились на Палатине, в доме Августа, и подслушивали там преступные тайны Ливии Друзиллы Августы и страшную боязнь Тиверия не достигнуть той цели, ради которой он не затруднился бросить любимую им Випсанию Агриппину, сделавшую его уже отцом Друза, чтобы жениться на Юлии, дочери Августа, о нецеломудренности которой он знал еще тогда, когда она была соединена с Марцеллом, и еще более потом, когда сделалась женой Марка Випсания Агриппы и приобрела известность своими скандальными похождениями с Семпронием Гракхом, Тиверию казалось, что, вступая посредством брака с дочерью Августа в фамилию цезарей, ему легче будет достигнуть своей цели, – в то время, говорю я, в доме Луция Эмилия Павла можно было бы узнать, как нелеп был страх Ливии и ее фаворитки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.